

ПАРИЖСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
ПРЕМИЯ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ
ЗА 1981 ГОД

ЮРИЙ ГАЛЬПЕРИН

МОСТ ЧЕРЕЗ ЛЕТУ

(Практика прозы)

МОСТ ЧЕРЕЗ ЛЕТУ

**YURY
GALPERIN
MOST
CHEREZ LETU**

(Praktika prozy)

Overseas Publications Interchange Ltd

ЮРИЙ ГАЛЬПЕРИН МОСТ ЧЕРЕЗ ЛЕТУ

(Практика прозы)

Yury Galperin: MOST CHEREZ LETU

**First published in Russian in 1982
by Overseas Publications Interchange Ltd
40 Elsham Road, London W14 8HB, England**

**© Yury Galperin, 1982
© Russian edition (1982)
Overseas Publications Interchange Ltd**

All rights reserved

**No part of this publication may be reproduced or translated,
in any form or by any means, without permission.**

ISBN 0 903868 40 7

**Printed in West Germany
by Polyglott-Druck GmbH
Flurscheideweg 15, 6230 Frankfurt a. M.**

В бессоннице не было ни будущего, ни прошлого, — одно лишь мучительное желание заснуть, душная подушка и пугающий скрип матраца, когда ворочаешься. Бесполезно искать удобную позу; клубком, на боку, разметав руки, — ее нет. Нет ничего, кроме осознанного желания забыться. Но уснуть можно было только избавившись от желания. Перед рассветом мне это удавалось.

Утром не хотелось вставать.

Часами я лежал на постели легко голодный. Необходимость подымала на ноги, но глаза оставались сонными. Врожденная лень получала еще одного союзника. Как мысль о поражении, крепнувшая с утра уверенность, что сегодня опять ничего толкового не сделаю, к вечеру добивала меня. И уже в постели, устраиваясь с книжкой, чтобы свет от лампы падал удобно, я вдруг вспоминал о бессоннице, и страх комкал желание читать. Тогда мысль о том, что надо менять что-то в этой жизни, — дальше так продолжаться не могло, — мысль эта растворяла предыдущие мои решения. Но осознание бессилия встать над собой — вот так, просто взять и встать прямо сейчас — замутняло ум. И смятения этого вполне хватало до утра, пока я, наконец, не забывался перед рассветом.

Дважды я ходил домой к девушке, с которой познакомился накануне, за несколько дней до происшедших событий (ниже я попытаюсь о них рассказать). Мы и были-то знакомы, то есть пробыли вместе, один день. Меньше: вечер, ночь в малознакомой компании и несколько часов утра. Но, может быть, то, что произошло с нами в какие-то мгновения близости, — может быть, это как раз и было причиной, предопределившей все происшедшее впоследствии.

Тогда я еще ничего не знал. Мучился неопределенностью. Все казалось: что-то с ней случилось, могло случиться. И я пытался выяснить. А ее не было дома. Вообще никого у

так, а не иначе. И кто что скажет, а потом сделает, и сделает ли, и почему. Все это в обыкновенном своем отъединении я пропускал мимо, как-то очень внешне и беспамятно понимая, и улыбался грядущей ночи и бессоннице — верной жене. Я улыбался с утра до вечера бессонными глазами, а люди думали — я улыбаюсь им.

Косвенной причиной такого состояния была работа. Я делал ее для телевидения. Редакция надумала поставить телеспектакль о детях-героях. Но представления режиссера и редакторов о детском героизме не вязались с моими представлениями, точнее сказать — с отсутствием таких представлений. Для меня сам факт, что ребенок все-таки живет и смеется, тянется к свету, как цветок на мусорной свалке, был самоценным актом неосознанного героизма. Кроме того, я не сомневался, что свет, столь необходимый ему для роста, непременно убьет его. Так или иначе, но редакторы думали иначе, и похоже было: мы друг друга недопонимали. Но спорить — значило потерять заработок, а им не хотелось искать другого исполнителя: сроки поджимали. В конце концов, то, что получилось, с некоторой натяжкой я мог бы характеризовать двойным и, простите, неточным эпиграфом: „Великие дела требуют великой жертвы” и „Стоит ли воплощения такая идея, если ради воплощения ее потребуется слеза ребенка? Не погибнет ли в той слезинке сама идея?”

И я писал: по сюжету дети совершали подвиги (оговоренные редакторами) и... неизменно помирали. Так что к финалу громоздилась над прекрасной идеей гора трупиков — двенадцать смертей (больше, чем в „Макбете”?). Потом редакционная коллегия четырех пионеров воскресила, но восемь остались лежать. Гибель их была санкционирована худсоветом, по-своему понимавшим цену идеям и свершениям. Я поставил точку. Мутило.

Я был забрызган с головы до ног. И мальчики кровавые конечно. Хотелось самому под пулеметы, уже не за идею ни за какую, а чтобы не помнить и не соприкасаться ни с чем. Несколько дней, запершись, я просидел в пустой квар-

тире. На звонки не отвечал. К телефону не подходил. Купался в ванной и читал Кэнко-Хоси.

Только однажды я вышел из дому, поехал к Марине. Но опять никто не открыл. Должно быть, все жильцы, да и она сама, отдыхали на даче. Август был теплый, необыкновенно цветущий, римский чувственный август. Но не для меня.

Я прятался от жары в полумраке прохладной квартиры. Стоило выйти на улицу — задыхался, почти ощущая в легких сухой осадок; пьянел, словно пыль героина была на ветру в сером воздухе города. Невидимая паутина липко охватывала лицо, как в прозрачном лесу. Прилипала. Я не мог ее стереть, содрать. И руки понимали прикосновения, как сквозь нитяные перчатки.

Мимо мелькала замедленно вереница машин в сизом облаке отработанного газа. Звон трамвая выбивал из одурманивающего сна-бега, — выпорхнув из под колес, я метался между рельсовыми путями у моста через Карповку: „Идти на студию, не идти?“ Казалось, бросишь все, и столько неприятностей рухнет сразу. Людей подведешь. Ведь я уже и не себе принадлежал: договор. Но некогда было чувствовать, — мысли, самые яркие, не вызывали эмоций. Да и о каких эмоциях говорить, если даже известие о собственной смерти я воспринял, как будничную информацию из газет.

В оглушительный, потный и пыльный, в душный августовский полдень, на углу запруженного автомобилями проспекта и улицы Чапыгина я уже направлялся к проходной телецентра, когда, скрипнув тормозами, вильнув задними колесами, меня объехал юркий поворотливый „жигуленок“ цвета белая ночь. Из распахнувшейся дверцы просунулось испуганное лицо приятеля.

— Ты?

Он неуверенно потрогал меня пальцем, пощупал пиджак, когда я подошел поздороваться.

— Тебя ведь это... — сказал он, — ... похоронили!?

— ... ?!

— Недели две или три, — как бы перебирая события дней,

в числе которых были и мои похороны, пробормотал он. — В общем, дней десять прошло.

— Почему похоронили? Зачем?

— Так ведь ты разбился, — уверенно объяснил приятель. — Тогда, ночью на Петроградской... Такси въехало в магазин.

— Такси? — смутно припоминая, переспросил я. — Марина?

— Ну, не знаю: такси-шмакси. Мне сказали: скончался, не приходя в сознание, в больнице Эрисмана.

— На похороны-то ходил? — поинтересовался я.

— Да мы собирались с Надей, — отчего-то вдруг засмутился приятель. — Только как раз... Понимаешь, в тот день... Но мы отметили, ты не думай!

— Ладно, — сдерживая ехидство, перебил я его. — Сам не пошел бы в такую жару.

— Это на собственные-то похороны!

— Ну и что? Тем более.

— Послушай, — он опять потрогал мой пиджак. — Знаешь, я даже рад. Нет, серьезно. Вот Надюха обрадуется!

— А что? Говорят об этом? Знают?

Приятель поморщился припоминая и усмехнулся:

— Говорят: хороший был парень... Что можно еще сказать?

Значит, похоронили меня, нормально закопали, продолжал думать я, по инерции шагая к проходной телецентра, — здорово шутят! О таких историях я знал понаслышке. Читал. Если рассказать кому, то и не поверят, что со мной могло такое случиться. И как обыкновенно! Да и что же это за шутки: только бы маме не позвонили — напугают, подумал я о сочувствовавших. И вдруг понял: мне самому, уже покойному, никто не звонил (разве что с телевидения), и вспомнил смущенную физиономию приятеля.

— Понимаешь, многие только после похорон узнали, что уж тут звонить — близких твоих лишний раз дергать. А так чего? — бормотал он, усаживаясь за руль, беспокойно ерзая на сиденье, в глаза не смотрел, торопился. — Вот посмеются,

когда расскажу! Ты это, не пропадай. Надо отметить, так сказать, воскрешение, а?

Значит нет меня... — тогда только и обиделся я, мгновенно осознавая наивную нелепость и детскость этой своей обиды — по меньшей мере инфантильностью было из-за такой ерунды (а в понимании нашего круга происшествие это было анекдотом) на кого-то обижаться. А на всех и того смешней. Но мне только обиднее сделалось от такого вдруг понимания: ничего себе живем! Живем, как не живем. Ведь для большей части дружков меня на сегодняшний день просто нет. И уже не будет. Никогда. То есть, пока новоявленный свидетель воскрешения на „жигуленке” эту новость по городу не развез.

И ведь ничего не изменится. И воскрешение мое — скорее лишь повод собраться выпить. Стоило ли воскресать?.. — подумал тогда я и остановился перед массивной дверью, собираясь с духом, чтобы толкнуть.

Дверь распахнулась сама и выпустила двух молоденьких теледевичек в одинаково скроенных юбках, в башмаках на одинаково толстой грубой подметке, с одинаково розовыми улыбками, словно фирменная эмблема у каждой на лице — TV. Мрачная ниша входа дохнула прохладой, но отнюдь не освежающей, а какой-то дохлой прохладой.

Как из могилы, подумал я, ведь действительно кладбище. И представил знакомые низкие коридоры с бесконечными дверями, полумрак, и по мягкому полу бесшумно ступающих, скользящих призраков, призраков — призраков, торопливо снующих в миражах своих забот: сколько на этом деле молодых купилось!

Отступая, я оглянулся на безликий, гладко оштукатуренный, словно бы в архитектурной спецовке, фасад телецентра. Одновременно я был смущен неловкостью собственного странного, непонятного со стороны маневра перед входом: получилось, вроде, меня туда не впустили. И мне тут показалось, из всех окон смотрят. И никому нет дела ни до моей смерти, ни до моего воскрешения. Стоило ли воскресать — вот что. Вот в чем дело. А если так — если так, то

и не черт ли мне эти лупоглазые окна. Даже если смерть моя произошла бы сейчас, прямо перед входом, под окнами, — прежде всего это было бы нарушением общественного порядка, а уже потом смертью.

Втянув голову в плечи, я торопливо перешел на противоположную, освещенную ярким солнцем, жаркую сторону улицы и заспешил к проспекту, откуда сквозняком в переулок распространялась удушливая вонь, плывшая за сверкающими машинами. Прочь.

Событиям, описанным, предшествовало знакомство. Точнее встреча. Еще точнее — несчастный случай. И теперь к горлу подступает необходимость признаться. Обо всем поведать. Освободиться от греха. Взвалить его на душу читателя.

Притиснувшая меня потребность вместе с сюжетной, композиционной необходимостью — по-видимому, то и другое глубоко внутренне взаимоувязано в жизни, формой которой является язык, СЛОВО (то самое, что было СНАЧАЛА), — она, несколько подавленная (только что!) конструкцией фразы, эта единственная подлинная моя потребность принуждает отступить на некоторое время. Продвинуться вспять. И поведать.

Но безумие! Только в слове, в королевстве слов и синтаксических ландшафтов возможно такое безумие. Ибо что может быть гнусней и нелепей надуманной „машины времени“? Ведь, возвращаясь в прошлое из действительной, реальной до пошлости, материальной жизни, мы попадаем в прожитое мгновение (пусть всего несколько часов тому) уже в новом качестве, уже обработанные струей истекшего времени, попадаем необратимо измененными. Как же совместиться обладателям приобретенного за истекшее мгновение опыта и знания о прожитом моменте с тем наивным, трогательно беззащитным самим моментом, где они еще ничего не ведали, не испытали, находились в ином, еще не измененном качестве?

Разве не безумие! Какое сознание сподобится выдержать все режущие тонкости несоответствий, измельченными обломками бритвы вонзившихся в мозг.

Другое дело язык — форма жизни, допускающая одновременное смещение и совмещение Стокгольма, Петербурга и Венеции с Ленинградом. Где кошка, избежав колеса автобуса, мурлыкая потрется о сапог застывшего у полоса-

той караульной будки гренадера и махнет прямо с тротуара в раскрытое окно четвертого этажа: при этом, когда лапки ее передние коснутся подоконника, задние лапки еще будут скрести коготками по асфальту, а тело нимало не увеличится, хотя расстояние от четвертого этажа нормального ленинградского дома до тротуара несколько не уменьшится. И все это произойдет одновременно и в описании, и на ярко освещенной солнцем ночной улице. И не удивит никого, разве что редактора. А читателя нынешнего вряд ли таким удивишь — он сам, как эта кошка, живет.

Литература, скажете?

Да, отвечу, — мир. Отраженное и отражающее Зазеркалье, где происходят восхитительные ужасы, хотя подчас куда более пресные, чем в действительной жизни. Но о действительной жизни у каждого свое представление. Клевета, могут сказать, искривление.

Другое дело мир, которого нет. И не может быть, пока некто (а в данном случае Автор) не нацарапает на плоскости бумажного листа свои значки. Тогда эта невинная плоскость, оживая, даст тот немыслимый объем, в котором достанет места уместить вселенную, если только нацарапанные значки — буквы, и складываются они в слова, а слова составляют текст. Текст — хранилище тайны стесненного дыхания, тайны, зависимой от формы напряжений лингвы, возникающих в семантических всплесках несоответствий и (как их?) резонансных гармоний лексических, синтагматических и стилевых структур (ух!). Там, словно королева-клетка в опаринском биобульоне, возникает вдруг истинное, неназванное зерно смысла и светится сквозь мякоть, как семечко в яблоке, солнечном изнутри.

Итак, углубимся, подобно червяку, в холодное пространство яблока. Нырнем в семантический бульон и окажемся...

Не так уж далеко мы окажемся, а всего лишь в конце июля, в тех последних числах, в львиных днях этого медиума лета, когда между Юлием и Августом я возвратился из

Туапсе после одинокого отдыха на юге и, запершись в прохладной квартире, пытался работать: срок договора истекал, а дети-герои все не могли совершить утвержденных редакцией подвигов, и не получалась их трагическая гибель во славу и подтверждение концепции худсовета.

Я пытался работать: воображал степи, поля, в которых остановились эшелоны с чехословаками, щеголеватых колчаковских офицеров, английские броневики-черепахи, французскую эскадру на рейде. Ласково светились волны тепло-го моря (после отпуска это получалось достоверно), но герой, мальчишка, спасавший подпольщика, закономерно и злонамеренно не желал захлебываться. Героизм все не мог состояться — наверное, медузы спасали его.

Но я пытался осилить, честно старался за обещанные и частью полученные деньги, — топил.

С утра до ночи я слонялся по комнате, шел по коридору в кухню и обратно, лежал на диване и в кресле, слушал пластинки, заставлял себя сидеть за письменным столом. Работа не двигалась дальше первых фраз, сделанных доброт-но, но написанных еще перед поездкой на отдых. Теперь текст расползался. Я давился диалогами, как сухомяткой. Они получались без внутренней связи, рваные и не запоми-нающиеся из-за обилия внешне логичных, но каких-то слу-чайных слов.

За окном, в напряженной духоте, в темном мире густо шевелящегося сада дышало томное тело августа. Воздух — пространство за белеющим подоконником — в темноте ка-зался таким насыщенным вкрадчивыми шумами, далекой музыкой, неясными, но притягивающими шорохами вожде-ленного вечера, казалось: стоит лишь перешагнуть черту и, увязая в осязаемой густоте, не упадешь, а мягко опустишься на траву под деревьями.

Но я зажигал свет над столом, зеленую лампу. Отгоражи-вался от вечера занавеской, опять садился к столу. Сжимал голову руками нелепо. Заканчивалась пластинка. Звукосни-матель старой радиолы монотонно поскрипывал, соскальзы-

вая раз за разом на последнем витке. Надо было выключить. Я не мог встать, подойти.

Писательский опыт и чувство долга находились в неравной, затянувшейся борьбе с ленью и опытом моей писательской лени. Я знал о себе, что, в принципе, человек я ненадежный. Лучше всего это видно на отношениях со слабыми, например, с насекомыми: в добром расположении духа не обижу муравья, зато в дурном давлю всех, кто попадет под руку. Однако убийство невинных персонажей моих требовало еще большего отъединения от собственной сущности (аванс уже уплатили). А это противоречило самой, так мне казалось, сути искусства, где (не так уж это и сложно) видение, преломленное индивидуальными свойствами натуры, только и может обеспечить мало-мальски позитивный какой-то результат. Именно позитивный, а иначе зачем?

Зачем? — вечный вопрос.

Еще я пытался читать, но буквы высыпались из книг, я не мог собрать слова, и смысл был неуловим, как сон. Я был отравлен насилием аскетичного, странно пустого отдыха на юге и ложью попыток читать на пустынном пляже Марселя Пруста (асфальтовая мечта сноба). Под плеск набегавших волн зябко кутался в простыню, клевал носом, бессознательно пропускал текст страницами, засыпал. Так и не смог дочитать роман за месяц, такая дурь.

А город дразнил призывно зазывными огнями. Подмигивал. Я прислушивался к стуку каблучков на асфальте под окнами, к легкому смеху из-за ветвей. Я не привязывал себя к мачте, не было воска залить уши друзьям, не было и друзей. Только сирены. Мудрый герой, хотел бы я на тебя посмотреть в ситуации, когда само многодневное неискреннее противление настолько измотало, что не только не было силы противиться, но и не оставалось силы шагнуть. В такие вот моменты мы и становимся жертвами друзей, любимых, случайных совпадений, чужих капризов и многого иного. Но по сути шаг этот последний, падение или жест, — всего лишь отклик на зов, возможно только тебе одному и

назначенный, тобой одним услышанный. И какие там мачты, хитроумный герой, в мире, где судьбу решает не гром и не выстрел. Но телефонный звонок.

Поздно вечером глухой равнодушно скушающий голос приятеля в телефонной трубке вывел меня из оцепенения. Голос приятеля спросил:

— Спишь, что ли? Прости, я тебя разбудил?

И я, застыдившись резко первоначального тона своего, виновато и хмуро ответил:

— Тоже прости. Я хандрю, а ты мне мешаешь.

Приятель смутился. Был он человеком грубовато активным, но способным понимать, улавливать оттенки чужих переживаний, состояний, страстей. Мало того, я бы сказал, что способности этой он был обязан своим успехом. В его деле, как ни в каком ином, существенное значение имела эта способность: понимать других людей. И не так уж важен был самоанализ. Мало того, я вовсе не исключаю, что успех (подлинный) пришел к нему только потому, что он не заикливался на себя. Милый и добрый, мой грубоватый приятель не был интеллигентом в больном значении этого слова. Собственно объяснять, кем он был по сути, — значило бы писать новую повесть, другую, и, смею заверить, очень даже не простую, не рассказ и не роман, но повесть. Так что на страничке во второстепенном, информационном абзаце, в двух словах я искренне затрудняюсь род его занятий как-то, с приблизительной хотя бы точностью определить. Мало кто мог с достоверной убежденностью и знанием сказать, чем он занимался конкретно. Мне, как близкому другу, было известно только, что он — миллионер. Обыкновенный миллионер.

Еще в восьмом классе (а мы учились в одном классе) в сочинении на тему „Кем хочешь быть?“ он написал одну только фразу, — сочинения ему никогда не давались, и пространно не умел он излагать, — но какую фразу: „Я хочу быть миллионером“. И стал.

Итак, приятель мой, в социальном смысле человек без определенных занятий, а по слухам (по достоверным и про-

веренным кем-то слухам) подпольный миллионер, в тот вечер позвонил и помешал мне хандрить, и смутился. Был голос его усталым и неярким. Уж кто кто, а я знал, как выдохся он за последнее время. Он просто спрятаться не знал куда от своих комбинаторских забот, обязательных развлечений, деловых обедов, ужинов и праздников и просто бесконечной выпивки с полезными людьми (русская земля, циррозом печени отличаешь ты безумцев, пытающихся вершить дела в твоих непереносимо русских условиях). Это не говоря уже о суете и тошнотворном мелькании всякой мелкой невской сволочи от фарцовщиков, ловивших каждое его слово, до солидно молчаливых и скромно и мрачновато одетых валютчиков и стандартно расчетливых в улыбках хозяйственных вождей государственных предприятий. А вокруг, словно питательная среда: ляльки, мальчишки, ногиколенки, задницы, ресницы, размеры лифчиков — тоже своего рода бульон, образ жизни своего рода. И, как при всяком образе жизни, борьба за выживание. Не безопасней, чем щук в зубы в пруду, было попасться в ресторане или на вечеринке прелестной хищнице на глаза.

Все это я знал о нем и о его жизни, и об усталости его от образа этой жизни. И как будто интонация его смущения в телефонной трубке вдруг напомнила обо всем. Я сам засмущался и забеспокоился даже, отыскивая такие, чтобы были они только наши с ним, только для нас обоих единственные слова. Но получилось, да и то после некоторой паузы: „Хорошо, что позвонил...”

Но Алик, так звали приятеля, даже после такой короткой и, казалось бы, мало значащей фразы оживился. Я бы сказал, ободрился даже. Ключнул на душевную теплоту, которую я сумел втиснуть в банальную интонацию фразы, чтобы смягчить притворство. Это, по-видимому, и зацепило его.

— Послушай, — сказал он уже виновато. — Ты это, конечно, прости. Мы тут в киношку собрались, но только адрес не можем выяснить, где „Колдунья” идет. Не помнишь, что за клуб такой — пищевой промышленности?

— „Хлеб-лепешки”, что ли?

— Вроде.

— Помню, — развеселился я. — А почему именно „Колдунья”?

— Почему? — переспросил Алик. — Разве не знаешь? Ее последние дни показывают, вообще, последние дни в стране. Кинопрокатные договоры заключаются на срок, вот срок на эту ленту и кончился, — отдают во Францию. Так что спеши увидеть, в последний раз Николь Курсель и Марина Влади! Молоденькие. Обалденные девчушки! — он помолчал недолго и уже другим, неожиданно доверительным голосом продолжил. — Знаешь, есть что-то в этих старых фильмах. Столько раз смотрел и не замечал вроде. А теперь...

Я вспомнил: давно когда-то у входа в кинотеатр, в этом самом клубе „Хлеб-лепешки” вывешивали фотографии светлой босоногой девушки, вспомнил ее испуганное в улыбке лицо, изящно нелепое платье. В школе одноклассницы причесывались „под Колдунью”, по этому поводу собирали педсовет. Все это происходило в старой школе, еще до знакомства с Аликом, до переезда в новый район. Еще мы жили в милом кирпичном доме на углу, семьей, вместе: папа и мама. Давно. И тут мне сделалось грустно, — вспомнил.

— Где это? — опять спросил Алик. — Как лучше проехать: по Разъезжей или по Звенигородской?

— По Социалистической.

Он замялся.

— Ближе всего, — уточнил я. — Это моя улица — там родился.

— Послушай, — неуверенно предложил он. — Оставь-ка ты свой роман или что там. Все равно в такую погоду невозможно работать. Собирайся, а мы за тобой заедем, а?

— Много вас?

— Надюха и приятельница ее тут одна приبلудная.

— Хорошенькая?

— Я в кино приглашаю.

— Ладно, — перебил я, — заруливайте. А не опоздаем, какой сеанс?

— В десять.

Я отодвинул телефон, вылез из-за стола и, на ходу роняя одежду на пол, скользнул в сырую духоту ванной. Колдунья, так колдунья, уже как бы радостно думал я, выгибаясь под холодящей струей душа, и понимал, что не помню подробностей забытого сюжета. Словно бы надежда (или предчувствие?) возникала, когда я пытался их вспомнить, возникало волнение. Я чувствовал, там, в сюжетных изгибах, таится неожиданность. Мне давно ее не хватало. Может, и не ее вовсе, а иного, но не хватало — это точно, это я знал. И теперь, мне казалось, она таилась там. Словно было что-то утрачено. Но это ничего, это поправимо. Я увижу и вспомню. Там.

Через десять минут, кое-как расчесав мокрые волосы, в свежей рубашке, перекинув куртку через плечо и прихватив из вазы яблоки, я спустился во двор. Автомобиль, разворачиваясь и подпрыгивая на неровном асфальте, огибал затаившийся сад. Он ослепил меня, как ударом, светом четырех мощных фар. Ничего не видя в кабине, еще не привыкнув к темноте, наугад я протянул Наде и другой девушке яблоки.

— А мы для тебя тоже взяли яблоки, — оглянулся и захохотал, сидевший за рулем Алик. — Ты не ел, наверное?

— Не помню, — соврал я, — вроде бы ел.

— Что ты помнишь, кроме своего романа, бумагомаратель! Друзей разогнал, пьянку запустил. Хоть двигается?

— Потихоньку.

— Не врешь? — переспросил он и опять оглянулся: видишь, что-то не устроило его в тоне ответа.

Тогда, уже в свою очередь, мне стало смешно.

— Может, и вру.

Мы ехали. Теплые огни таяли в зеленоватом сумраке вечера. Суетились перед машиной пешеходы. Обгоняли один другого автомобилисты. Вереницей катили освещенные троллейбусы, наполненные нарядной публикой.

С проспекта, совершив плавно правильный поворот, мы свернули в пустую, малоосвещенную улицу, которую я ука-

зал, и медленно поехали вдоль ряда черных деревьев.

— Впереди, за перекрестком, справа на углу — мой дом, — зачем-то сказал я, и, конечно никто не оглянулся, не посмотрел в ту сторону. — А к кинотеатру поверни налево. По бульвару.

Приятель за рулем кивнул.

Освещая фарами местность, мы выехали к перекрестку. И тут — сначала мне показалось, свет фар неузнаваемо переменил что-то в пейзаже. Я еще не осознал что, просто понял: случилось.

Это было не мое, другое какое-то место. Я его не узнал.

Впереди мелькнул дощатый забор, перекрывавший проезд. Но поворот налево оставался свободен, и ничто не препятствовало автомобилю. Алик спокойно вглядывался, искал огни кинотеатра. Машина уже завернула на бульвар, когда я вдруг пробормотал испуганное, растерянное: „Погоди...” И, не дожидаясь полной остановки, толкнул дверцу.

— С ума ты сошел! — обернулся друг.

На родном перекрестке я стоял возле чужой машины, случайно доставившей меня сюда, к старому дому. Я искал глазами знакомый фасад. Белел забор. За забором подымалась глухая груда развалин. Дома не было. На струганых досках висел плакат: „Капитальный ремонт ведет СМУ—278”. Это называли капитальный ремонт: над головой, зияя пустыми проемами, в фиолетовом небе стояла мертвая стена, другая стена (там была наша комната) обрушилась, обломки завалили проезжую часть.

— Мой дом, — сказал я.

За спиной слышалось сдерживаемое легкое дыхание. Надя и ее подруга стояли рядом. Алик высунулся из машины. Надя молчала, ничего не понимая.

— Пойдемте, — сказала ее приятельница и потрогала меня за локоть. — Не надо смотреть.

Я не противился, но когда вернулись к автомобилю, передумал, не захотел лезть в духоту стальной банки.

— Опоздаем, — проворчал из кабины приятель.

— Здесь близко, — ответил я и пошел.

Женщина шла рядом. „Жигуленок” медленно катил вдоль тротуара. Лица Нади и Алика зелено бледнели, освещенные рекламой кинотеатра. Я придержал шаг, чтобы поравняться со спутницей. Она попыталась улыбнуться:

— Это ничего.

И виноватая улыбка ее мне показалась знакомой.

Миновав желтое, освещенное громоздкой люстрой фойе старой киношки — все здесь было до боли знакомо, ничего не переменялось, — мы вошли в зрительный зал, словно школьники, похрустывая вафельными стаканчиками с мороженым.

На экране мелькали вспышки выстрелов, грохотал джаз, английские солдаты на броневишке патрулировали площадь, неширокую, тесно заставленную домами с причудливыми башнями и балконами, с островерхими готическими крышами — Ольстер, кинохроника. Затем по экрану помчались спортивные катера.

— Ты давно смотрел „Колдунью”? — спросила Надина подруга.

Я отметил, что в темноте она перешла на „ты” и попытался вспомнить, как ее зовут.

— Лет семнадцать прошло.

— Ничего не помнишь?

Я кивнул.

Потом, я удивлялся, до чего нелепо тогда все выглядело. Но для кого нелепо? Участниками были мы двое. И странная ее уверенность странной не показалась. Может быть, потому, что я уже участвовал, был задействован во всем, что тогда началось. А началось именно тогда, в какой-то неуловимый, незначущий, незапомнившийся момент. Я его и не заметил. Не знал о нем. И о том, что началось, что происходит — не знал, не имел ни малейшего представления. Потому что уже сам участвовал, — как та кошка, уже прыгал с тротуара прямо в окно четвертого этажа.

Я только спросил:

— Как тебя звать?

— Марина, — рассмеялась она. — Забыл?

Но я помнил: в машине Алик называл ее иначе, вроде бы Дашей. Но Алик вечно путал имена. Однако и точное знание имени уже не имело значения. Я только повторил про себя: „Марина”. Остальное отпало. Осталось слово. Оно определяло все.

... Молодой инженер сходил с парохода на берег, на пристань небольшого, на севере, скандинавского города. Его не встречали. Николь Курсель расчесывала волосы у зеркала. Демонстрировала дерзкую простоту общения в сочетании с безукоризненностью манер. Норов ее героини прозрачно прояснялся долговременным отсутствием мужа. Инженер с блеском выигрывал тест за тестом, удивлял героиню, заинтересовывал. Банально закручивалась завязка банальной истории. Оператор демонстрировал удивительность своего индвидения. Функциональная жесткость режиссуры проглядывала в четкой свинченности кадров — ничего лишнего, каждый метр пленки, каждое слово и реплика: все работало на сюжет. Отвлекаясь от сюжета, я размышлял о последовательности воли художника: вот где должна воплощаться сила индивидуальности, только здесь она и может по-настоящему... Но наш инженер уже входил в лес. Ветка хлестала по щеке. Мелькало за деревьями испуганное лицо, — девушка убегала в зарослях в свободном и развевающимся платье, легко проскальзывая и нигде не зацепляясь, проходила сквозь непроходимую чащобу. Инженер задышался в беге. Хрупкой тенью, привидением уходила она из рук. Подошвы горных ботинок скользили по крутой тропе. Он падал и катился по склону. Подымался. И тогда к нему вновь оборачивалось ее испуганное и смеющееся лицо.

... Лицо... Лицо!

Мгновенно я испытал ощущение потери.

Глаза смеялись с экрана и припухлые губы. Распушенные локоны, расчесанные „под Колдунью”, упали на плечи. Ветки хлестали по щиколоткам босых ног.

На какое-то время (а в кинематографическом измерении пять или десять минут — очень много) мне опять сделалось одиноко. Но не так, как там, у себя, в комнате: в полумра-

ке, в полудухоте, на пыльном диване или за письменным столом, когда знаешь, что никто не позвонит, и спокоен, и это нормально, и даже боишься, что кто-нибудь позвонит. Нет, не так совсем. Иначе. Безнадёжно тошно вдруг сделалось мне, словно места меня лишили моего, или того хуже: как будто бы отделили часть меня от меня, отняли, и вот теперь уже я не один целый, наполненный, и мне хорошо, а два меня или даже несколько, и каждая часть оторванная по остальным тоскует, скорбит, места не находит, или это я сам места не нахожу, со своего места согнанный, — такое чувство. И еще ощущение, что не буду я возвращен на прежнее и единственное мое место и соединен в целое, в прежнее уже никогда не буду. Никогда.

Девушка на экране улыбалась инженеру, останавливала кровь (он поранился), заживляла рану, взглядом выдавала ему такую подсечку, что, подкошенный, он кувыркался в траву. Но не желал верить в колдовство. А я уже верил.

В грусти вглядывался я в наплывавшее с экрана, снятое в странном ракурсе и улыбавшееся виновато кинолицо, странно знакомое. Настолько знакомое, что казалось предыдущую жизнь мы только и делали что вместе просыпались. Я узнавал. Я знал. Я ее всегда помнил. И я понял это, когда, зажмурившись, она понюхала цветок.

Вот только где, когда, кто?

Впрочем, это уже не имело значения: я уже был инженер и трогал ее за руку. Она смеялась, разбрызгивая сонную воду озера, слушала мою болтовню серьезно и, подув на зеленую ряску, дыханием разогнав ее в стороны, разглядывала недоуменно свое лицо в черной воде болота...

— Балдеешь, — в тот момент рассмеялся над ухом приятель.

Я отмахнулся, словно случайно выведенный из сна, в испуге, что не дадут досмотреть, помешают, что я увижу другой сон, а не этот.

— Где твоя соседка? — рассмеялся Алик.

Марины-Дарьи-Дашеньки рядом не было. Я огляделся в

недоумении (может быть пересела?), но и рядом, нигде поблизости ее не было видно.

— Наверное, в уборной?

Надя прыснула:

— Чудная все-таки. Каждый вечер бегаёт сюда, как на работу. А сама... Не пойму.

— Ладно, — отмахнулся Алик. — Давайте смотреть.

И мы продолжали смотреть. Может быть, раз или два я ещё оглянулся. А потом забыл. А потом сюжет захватил настолько, что я и не вспомнил об отсутствии Дашеньки-Дарьи-Марины до конца сеанса.

... Лесная непуганая девчонка бродила по асфальтовому жесткому, вдруг так понятно мертвому (в высоком смысле образа и значения, иначе не скажешь, как мертвому и бесчеловечному) городу, и бродила она босиком по пыльным камням. Птичкой в развевающемся платье сидела в кабине автомобиля, словно в клетке. Нелепые подарки инженера, — мои подарки, Господи, ведь я ей то же самое бы купил, то же самое! — наивно развлекали ее. Крадучись, словно бы в предчувствии пробиралась она к церкви, возле которой (после которой) должно было состояться убийство, смерть.

Нет! я все понимал. Пусть смутно отдавал себе отчет, но все же знал — происходящее не действительность. Не реальность, а всего лишь ирреалия. Кино. Тоже текст со своим кодом условных знаков. Ещё одна форма жизни, наконец, — зашифрованный язык образов. Все это мне было известно. Но... Стыдно признаться.

Я читаю книги, посещаю театральные премьеры, даже кино смотрю. Я художник, на правах Господа целеустремленно и последовательно создающий свой мир. И я, словно мальчишка-семиклассник, обуреваемый неясными стремлениями, каждый раз поддаюсь, в той или иной степени, наивной выдумке, легенде. Каждый раз вовлекаюсь, соучаствую. Все увиденное, услышанное, произнесенное для меня со сцены, происходит со мной. Я там, посреди океана или джунглей, нарисованных на обратных сторонах век скудным воображением памяти, причудливо трансформирующей мир луго-

вой травы, в которую падал я ничком в давние годы детства, в экзотические заросли, банановые рощи. Тигры и прекрасные женщины разрывают меня, верные товарищи любят, пираты похищают, я команду парусными эскадрами, сбиваю самолеты „Luftwaffe” в небе над Ла-Маншем и над Курском, томительно бреду в сторону Свана, потом по направлению к Германту, длинную (многолетнюю почти) ночь возвращаюсь по лондонским предместьям, из Трои на Итаку, дожидаясь приглашения на собственную казнь, и гигантская рыба, с которой приходится тягаться один на один, все норовит, но не успевает расколошматить мою лодку — все это происходит со мной сегодня и, надеюсь, не оставит завтра. Гарантия тому — неостановимое детство. Я погружаюсь в любимые книги, словно в метаспиритизм. И в бесконечно новых перерождениях, нюансах, подробностях, пока конца не видно, я живу. Я чувствую, как живу, и знаю, что я живу.

И я не был бы живой, если бы примирился с убийством. Со слезами в глотке я восстал против своры расхристанных христиан. И едва не кинулся к экрану, чтобы помешать тому, что было единственно в воле Божьей. Против нее не пойдешь. Однако я все время понимал, непрестанно ловил себя на мысли, что нет, не Бог, не мог Господь иметь отношения к этой церкви и к человеку, бросившему камень именем Его и перекрестившемуся. К этому камню. Направить тот камень Он не мог. Нет.

Здесь богом был режиссер. Но и режиссер-художник не должен был.

И тут я понял, что и сам я в той форме жизни, что названа и является языком, в своем мире — бог. Я присваиваю себе функции Господа. Но и там есть свои камни и церкви, и даже выстрелы. А последнее время там топили детей и стреляли в детей, и под пытками допрашивали детей. Все это было написано, воссоздано с подробностями и в деталях, осуществлялось с драматической достоверностью и подтверждало концепцию худсовета. То есть совершались преступления, оговоренные в заявке, поданной мной в одну из

редакций телевидения перед заключением договора и закрепленной договором. Я сам творил авансом уже оплаченные преступления... И тогда я понял, что и этот режиссер и многие другие боги — он мог, мог все.

И еще я понял, что нет, — я бы на его месте не стал, ни за что, тут уж мне никакие авансы. Ведь какая!

В тот момент мне так казалось, что я не стал бы. Я бы поступил иначе: полюбил бы ее. И сделал, чтобы она полюбила. Я бы иначе выстроил линию. Поднял бы ее на руках, и она вздохнула бы и улыбнулась, как обычно, как утром, как в той нашей жизни, которой мы с ней никогда не жили, той самой улыбкой, что я запомнил, и которую никогда не видел...

И та прекрасная женщина, которую я полюбил только что и, не устояв, тайно похитил с экрана, минуя чужой сюжет, она припухлыми губами смертельно устало улыбнулась зрителям — она не умерла, но осталась во мне, навсегда поселилась, чтобы сторожить какое-то чувство, не названное пока и потому не замутненное словом. Чудо первого возникновения в душе... Но оставим.

Только, когда в зале зажгли свет, рядом, несмело улыбающееся, я увидел ее лицо. Я нисколько не удивился, я просто узнал это лицо и испугался обрадованно. Ничего не стал спрашивать, лишь сказал:

— Ты устала?

— Ничего, такое дело, — опять улыбнулась она и неопределенно махнула рукой в сторону экрана. — До завтрашнего вечера теперь свободна.

Я взял ее руку.

— Останешься со мной?

— Ты хочешь?

И она была со мной.

Страшно писать. Сомнительно утешение, что происшедшее сотворил не я, а мой персонаж — Писатель. Он все-таки не совсем Я. Да я и не мог бы такого наворотить, обретаясь все же в несколько иных условиях, нежели обстоятельства романа. В моей хрупкой реальности с четвертого этажа не сигануть, увы. А если что, то и костей не соберешь.

Здесь знающий читатель и редактор должны поморщиться, наконец, — мол, опять магические коты, сюр сплошной! Но только зря это они. Сюрреализм — то, что я не могу вспомнить утром. А пока:

... Знакомство произошло. Мало того, теперь оно зафиксировано в конце второй главы. Отражено.

Но если слово „зафиксировано”, мягко говоря, с протокольным душком, фальшивое, как фикса, просто бюрократическое, не наше какое-то слово (в том же смысле, как „не наш человек”), — то понятие „отражения” и само слово „отражено” в этом тексте уже и вовсе ни пришей, ни пристегни, потому что вторая глава ничего не отражает. Все, что узнали вы сейчас, происходит только в ней и больше нигде. То есть уже произошло. И в третьей главе начинает происходить. И еще не известно, куда свернет самостийный ход событий.

Другое дело, что мне самому хотелось бы его как-то направить, повернуть, чтобы обнажился какой-то смысл, показалась изнанка, — вывести на открытый прием. И это еще, слава Богу, что пока линия сюжета не выгнулась упрямой струной, не вырвалась, не закатала по лбу — как угодно можно понимать и прямо, и фигурально: что в лоб, что по лбу. Послушна пока струна, поет. Но, признаюсь, уже она сама начинает влиять на первоначальный замысел созревшим весом развившихся обстоятельств, заставляет считаться с целокупной своей самооценностью, подсказывает, открывает новые, непредусмотренные ходы.

Если быть откровенным, то признаюсь до конца — где-то, словно бы в темноте, неосознанно я рассчитывал на эти ходы; вроде и продуман был сюжет до тонкости, но я знал: мне без них, без ходов этих никак не обойтись. На голом расчете не уедешь, если вещь не оживет и сама не прорастет изнутри. Эти ростки — подтверждение подлинности и верности избранного начала. И потому — третья глава:

... Мы вышли из кино в душную, по-августовски темную улицу, грустно молчали. Прохладную и податливую руку я сжимал. Стояли мы у стенда с фотографиями, где смеялась, убегала и падала навзничь девушка, только что зябко прильнувшая к плечу. И я укрыл ее своей ветхой кожанкой.

За вечер мы и десяти слов друг другу не сказали, но было ясно: она послана мне „во спасение” (так думалось), а я ей вот уж не знаю за какие грехи. Мы имен друг друга не помнили (позднее и она призналась), но уже состояли в скрытом сговоре, смысл которого был невыразим, но понятен обоим, как шифр метафоры.

— Марина? — вспомнил я.

— Да, — сказала она.

Ничто еще не было названо. Но я благодарно вздрогнул, узнав в голосе томительную интонацию согласия. В ту ночь она говорила „Да, да”. В самые безнадежные моменты я получал ее „Да”. В том числе и последнее „Да”, подобное пощечине.

Только позднее, слишком поздно, смог я оценить высокую силу ее маленького „Да”. Но тогда, на бульваре, в темноте, под зелеными огнями кинорекламы, возле обрушенного дома моего детства я размышлял иначе. Подпольный миллионер возился у машины. Надя зевала, лениво прикрывая прелестный оскал. Я аккуратно застегнул пуговку на своей куртке под подбородком Марины и подумал, что не повезу ее к себе домой.

Я не ловил ее, не охотился, не запирали в золоченую клетку. Да и не было достойной клетки. Но и не отказался, не прогнал, не выпустил на волю, — лети, мол, Божья птаха,

не ко времени ты оказалась. Не до тебя сейчас. Ничего я не сказал да и не мог сказать, потому что это противоречило желанию. А было желание.

Оно было причиной (так мне казалось, так я чувствовал) разряженной расслабленности последних вечеров и, отчасти, бессонницы, и ленивого, длинного утрона сна. Прежде я говорил, что причиной тому была ситуация, возникшая в связи с работой на телевидении, но одно другое не отменяет. Дурной подряд настолько задавил способности к чувствованию, что кроме вождения я и не испытывал ничего. А это всегда почти как сухомытка. Надеяться, что уже в близости возникнет что-то живое, что сердце встрепенется, было наивно. Сценарий не оставлял во мне сил себя испытывать. Да и постель — не полигон.

Вино, наркотики, табак, литература, театр, музыка, кино — все это божественные средства помощи душе. В тот вечер, только что похоронив прекрасную героиню, испробовав катарсис, слезами в горле и трудом дыхания вдруг очистивший, облагородивший сумбурный всплеск мутных моих эмоций, спроецировав происходившее в экранном пространстве на себя, я мгновенно пожалел и пожелал, и так же мгновенно и волшебным образом получил желаемое в придачу со странным беспокойством. После безвременного и бесчувственного моего продувного прозябания я получил желаемое, да. Но в придачу с настороженно зеленой грустью предчувствия.

Я понимал — утром не встану рано, не сяду к столу, а работать по-настоящему я мог только утром. Теперь ясно, насколько это было наивно. Теперь такая разборчивость представляется даже нелепой — разбудите профессионала среди ночи, и он вам надиктует главу. Но тогда я рассуждал иначе, неоконченный сценарий заслонял мир. И я зримо представлял, как мы с ниспосланным сокровищем моим прекрасно проваливаемся в постели до середины дня, а то и до вечера; потом — она будет слоняться по квартире в моем халате, плескаться в ванной, мыть посуду в кухне, звенеть вилками, корить за непорядок, за неряшливость, сочинять

завтрак, который в итоге все равно окажется ужином, пошлет меня в магазин, а сама, вооружившись пылесосом, примется спасать библиотеку, где цвет книжных корешков, слова названий, имена авторов были уже едва различимы под слоем пыли, покрывшей затаившиеся на полках миры, словно бы вуаль истории. Щетка пылесоса будет петь над ухом. Повернувшись спиной ко мне, к письменному столу, где я замолкну, притворяясь занятым работой, она будет тянуться на цыпочках, чтобы достать верхние полки стеллажа, или раскачиваться на шатких ступенях стремянки, и замрет в ожидании, когда я наклонюсь, чтобы поцеловать смуглоголубую кожу у нее под коленкой. Все я знал.

И это было еще лучшим вариантом: не исключалось, что она просто проспала бы день, а я, на жалких правах ослепленного, должен был был вокруг вертеться, порхать бесшумно или, затаив дыхание, забыть у нее под головой затекшее плечо: ни-ни! пошевелинуться, ведь разбудишь! И отгораживаться улыбкой, чтобы не разглядела в лице, не угадала в голосе зевоту послепостельной скуки. Чтобы не выдать себя, с еще большим усердием я должен был бы придумывать трапезу сам, изощряться, провожать ее в ванную, помогать одеваться и, наконец, выпроваживать, — ведь свободна она была до вечера. А уж вечером, — это я точно знал, — я ничего не напишу.

Все вместе, вкуче: неожиданная нежность и грусть, зеленое предзнание ненужного завтра счастья, а также пошлость последних соображений — словно тяжелая тень пронеслась над облагороженным кино-катарсисом, благодатно возделанным полем рассудка (о, искусство). И я, удерживая руку, но не собираясь везти Колдунью к себе в дом, мгновенно прикидывая в уме возможности, куда же деться, податься куда: к ней? к Алику? к друзьям? в какую-нибудь пьющую сейчас компанию? поехать кататься за город? предложить ночное купание, а там?.. Лес, лунный берег, озеро... — с такими мыслями я повернулся к машине. И Алик любезно распахнул дверцу.

Идея купания была воспринята. Да и что могло показать-

ся заманчивее, чем предложение выскользнуть на ночь из каменного, нагретого за день солнцем мешка, где в лабиринте улиц, как в коммунальных коридорах, застоялся тяжелый запах асфальта и бензина, и резины, и схлынувшей к ночи толпы. Я не оговорился, — не человека, а спертый запах пота и угар дыхания, какой бывает только в толпе и остается после толпы. Вырваться и умчаться на молодых колесах, разматывая бинт дороги, в сосновую страну, бывшую Финляндию, где под мачтовыми деревьями хвоя — пружинящий ковер под ногами — и тонкий, белый, быстро остывающий песок на берегу, и до утра хранящие тепло глыбы гранита у сонной воды.

Эти картинки представлялись нам и мерцали, словно проекции старого фильмоскопа, когда уже в машине втроем мы спорили, решали: на какое озеро ехать и заезжать ли домой. И что захватить: купальники, простыни, одеяла, закуску, а тогда и выпивку.

— У нас в холодильнике осталась только эта кислятина, „рислинг“, — сказала Надя.

Алик отмахнулся:

— Дуры-бабы, такая погода! Обойдемся без выпивки.

Ему надоело ездить пьяным.

— И, вообще, ни к чему заезжать, — рассуждал он. — Зачем полотенца, одеяла в такую теплынь? В крайнем случае печку в кабине врублю, и согреетесь... Купальники им, халаты, — ворчал он, сворачивая к дому. — Кто на вас станет смотреть в лесу, да еще в такую темень. Кому вы нужны!.. В общем, как хотите, а мы с писателем будем купаться, в чем мама родила.

— Ладно, — сказала Надя спокойно и снисходительно. — Только не клянчи потом простынку обтереться.

Марина это время молчала.

Мы въехали во двор. Впереди у знакомого подъезда под разбитым уличным фонарем стояла „волга“. Алик осветил фарами номер и оливкового цвета борт такси.

— Серега? — удивился он и, открывая дверцу, пробормо-

тал негромко. — Черта лысого! Совсем обнаглели, уже и без спросу приезжают...

Но тут же осекся, никого не касались их дела.

Надя вошла в дом и поднялась наверх. Алик у подъезда разговаривал с щуплым высоким таксистом, одетым в короткую курточку из нейлона. Забавно было наблюдать, как оба одинаково отставляли то левую, то правую ногу в сторону и одновременно принимали позы, в каких часто можно наблюдать мальчиков и молодых людей, простаивающих вечерами где-нибудь у освещенной витрины или у входа в модный ресторан, или у гостиницы, а то и просто у метро, что еще менее понятно, в окружении приятелей, — этаким клуб. И оба они вертели в пальцах на длинных цепочках автомобильные ключи.

На седьмом этаже распахнулось окно, и Надин голос позвал:

— Алик, подымись на минуту! Тебе звонят, Виктор, кажется.

Коренастый, широкий Алик хмыкнул, легко, без видимого усилия повернул субтильного Сережу за плечо. И оба скрылись за дверью.

Описывать интерьер жилища обыкновенного миллионера я не буду (наверх я не пошел) — это потребовало бы добрые две страницы с неисключенной угрозой перерасти в самостоятельный сюжет. Приятель мой Алик через минуту высунулся в окно.

— Слушай! — закричал он на весь двор так громко, что в соседнем корпусе вспыхнули тревожные прямоугольники окон. — Мы забыли совсем: у Витьки сегодня защита. Он из кабака звонил, там банкет!

— Какой банкет? Что ты на весь двор!..

Доподлинно было известно, что банкеты по поводу защиты диссертаций теперь отменены и даже запрещены.

— Ладно, — сказал Алик, — сейчас.

И затворил окно.

Он спустился на лифте, и на скамейке мы обсудили ситуацию.

Витя, школьный наш друг, выучился на биолога. Он занимался какими-то туманными проблемами, бактериями или чем-то вроде. Вел себя таинственно. И за эту его возню с бактериями (говорят, не такую уж безопасную) ему щедро платили. Трудно сказать, что именно оплачивалось: риск, неразглашаемость, светлые его мозги или вообще причастность к делам туманного рода, — а может быть, по совокупности. Витюша, дружок наш, — без особых радостей, правда, ведь был он удивительно занят, — тем не менее он бледно и своеобразно процветал. А теперь, когда с бактериями своими управился, наконец, у него из этого дела в придачу к солидной премии министерства вышла еще и диссертация. Ее он и обмывал в тот вечер с руководителями и сослуживцами в зимнем саду на четвертом этаже ресторана „Невский”. Засекреченные биологи раскидывали напропалую красные и фиолетовые билеты госбанка так, что метрдотель и официанты приняли их за компанию подгулявших мясников и потому, давая возможность раскошелиться пошире, позволили гулять до упора, до самого закрытия.

Однако теперь, несмотря ни на какие посулы, гуляк выставляли из ресторана. Тогда Витя и позвонил. Он что-то не вполне внятное бормотал. Сослуживцы помогали ему. С ними были девочки, веселые и разгулявшиеся. Им требовалось место для продолжения праздника. И новые впечатления. И лица новые. И старые друзья Виктора им теперь тоже очень требовались. И они собирались приехать.

— Сюда? — спросил я.

— У них четыре машины, минут через двадцать будут, — устало ответил Алик.

— А пить что?

— Захватят. Это их дело.

— Думаешь, они знают, где ночью в городе водку брать?

— Да-а... — Алик почесался от досады, — вряд ли эти тёпы толковую выпивку добудут... Поторопился я.

— Алик Иванович, а Алик Иванович, у меня в багажнике водяра, четыре бутылки, — тихо и внезапно предложил Сережа, мы не заметили, как вышел он из подъезда и затаился у

Алика за спиной. — Я вечером прихватил в „Стреле” экспортную, думал: ночью сделаю клиентам по червонцу, капуста будет.

— Мало, — сказал Алик. — Всего три литра.

— А может быть, ничего не отменять, а? — предложил я. — Поедем купаться всей компанией.

— Брось, они пьяные. Если кто утонет?

— Утонет, — нам больше выпивки достанется, — хмыкнул таксист.

— Годится, — кивнул Алик, он был покладистый парень и ценил рациональную мысль. — Пойду, Надю потороплю на счет закуски.

Сережа-таксист потянулся за ним. Шестерка. А я вернулся в машину. Марина по-прежнему сидела молча. На возвращение мое не реагировала. Я отметил это, но спросил только, когда мы потолковали о том о сем, и о приезде Виктора и его друзей.

— Тебе что-то не в цвет? — спросил я осторожно. — Не будешь купаться?

— Я боюсь холода. Мы слишком долго жили на севере, — сказала она. — В Лапландии поверье такое есть, что у каждого на долгую жизнь единственный запас тепла, его нельзя пополнить. А на севере люди много тепла оставляют — потом мерзнут.

Вместе мы посмеялись, и она добавила:

— Северянки легко простужаются. Мы ведь привыкли кутаться, а здесь надо одеваться легко. Привычки-то нет. Мне и сейчас зябко.

— Ночью вода теплее воздуха, — успокоил я ее и протянул руку, чтобы обнять и таким способом как бы и согреть и поддержать одновременно. Но она мягко отодвинулась в угол и, откинувшись, полулегла, устроив затылок на спинке сиденья. А я, приостановленный в порыве, на короткий неуточняемый почти момент растерялся и даже пал духом, предположив, угадав в ее жесте, движении отказ, бегство, уход. Наверное, это проявилось на лице, потому что она шепотом засмеялась. И я услышал, — да не ощутил, не почувст-

вовал, а именно услышал, — как ее рука, освободившаяся из-под куртки, мягко легла на шею. Мурашки пробежали от уха за шиворот от легкого холодка прикосновения ее гладкой кожи. Я нагнулся и нашел невидимый пушок над припухлой губой и влажную приоткрытость, и извивчивость языка.

На маленьком сиденье она удобно полулежала. Я понял, что она не отклонялась, не бежала, просто устраивалась по лучше. И вздрогнул от прикосновения трепещущей ресницы у виска. Марина тихо, неслышно почти дышала.

— Еще, — сказала она.

— Не пойдешь наверх? — напомнил я.

— Надюшка придумает что-нибудь, купальник, халат.

— Там темно, — сказал я. — Без купальника можно.

Она закинула подбородок мне на плечо. И, погружаясь в шелест ее влажного дыхания возле уха, я узнал шершавую ласку языка, — она лизнула мочку, согревая влажный холодящий след прикосновения теплом слова и шепота:

— Можно.

И она купалась в темноте без купальника.

Я был один, что, по-видимому нормально. Проснулся в комнате, солнечной и пустой. Сонным взглядом отыскал циферблат. Уронил одеяло, левой ногой отыскал тапки у кровати. Чуждый утренней тишине щелчок вдавил клавишу на панели плоского магнитофона и... Вскрик саксофона, крик изогнутой кренделем трубы, яростный, как требование нового дня, затаившегося в рассветной светящейся дымке, проколол мир моего микрокосма. Испуганная тишина вылетела в раскрытое окно.

Я был один. И в музыке болела голова. Я огляделся: в углу портфель, там таяло масло, — вечером забыл переложить в холодильник. На письменном столе машинка. Раскрытые папки с рукописями извлечены из ящиков, брошены на пол, — килограммов двадцать макулатуры. Если сдать во „Вторсырье“, хватит как раз на опохмелку. Разбросаны, веером рассыпаны по крышке стола исписанные убористым почерком листы. И на полу. Видно, ветром их сдуло.

— Нехорошо.

Заглушив магнитофон подушкой (а проще бы выключить), я нагнулся (а перед глазами мутные круги — тяжело) и попытался собрать по порядку разлетевшиеся страницы. Складывать не было сил. Но я отыскал заглавный лист: „Мост через Лету“.

Все правильно, туда он и есть, этот самый мост, и, может, не стоило вчера так, может, еще все образуется. Только бы страницы не потерять.

Возвратив рукопись столу, я оглядел комнату: на спинке кресла висел пиджак, брюки аккуратно повешены на изогнувшейся ветке старого фикуса, на ковре рядом с настольной лампой скомканная рубашка и носок, а второй на подоконнике.

С журнального столика я поднял плотный пакет, брошен-

ный поверх писем и газет: вчера вечером он был вскрыт ножницами, зажатыми крепко, но криво в самоуверенной пьяной руке („Отойдите, я сам!..“). К возвращенной рукописи была приложена записка на симпатичном бланке московского журнала. Вот еще одно преимущество одиночества: можно в полной безопасности от сочувствующих нестесненно любоваться и до мыслимого предела оценить изысканность отшлифованной формы, которая, впрочем, слегка увязала не то в оправданиях, не то в сожалениях. Только извинений их мне не хватало.

Не дочитав, я потерял интерес, потерял листок, выронил из рук. Не дожидаясь пока, романтично кружась, он опустится к ногам моим, перешагнул и раскрыл дверцу шкафа. Там хранилась коробка с таблетками. Анальгин? Пенталгин? Седалгин? Все равно что. Хотя что-нибудь поскорей... Рассол?

Рассолом выручала соседка. Однако, чтобы перейти лестничную площадку, надо было одеваться.

Аспирин!

Кисловатые таблетки я запил двумя стаканами воды, странно пыльной. На графине давно не было пробки, закатилась. И повалился на кровать.

Я был один. И никто не мог упрекнуть. Да и вряд ли такому человеку удалось бы ко мне подобраться. Впрочем, никому это и в голову не могло прийти. Даже так. Вот, собственно, как обстояло дело. Разве только совесть могла проснуться. Но оставалось надеяться, что она еще не прочухалась, бедная. Вчера ей сильно досталось.

Давно я так не расслаблялся. Даже не запомнил толком, что там, в конверте. Вскрыл перед сном, прочитал и вырубился, как после окончательного коктейля. И это даже удача, что я успел так надраться до того, как конверт ко мне попал. А то не лежал бы я сейчас на постели в болезненно блаженном расслаблении, и солнечный зайчик с упорством маленького сына не выкалывал бы мне своим горячим пальцем глаз. И не было бы мне так тошно и так хорошо.

Согласно выработанным правилам, если неприятности тя-

нулись полосой (а отказ, как ни привыкай, все равно неприятность), я ни грамма выпивки не принимаю, ни-ни. Сажусь за стол и работаю. В такие дни не имеет значения, что делать: старые тексты доводить или новое писать — главное не расслабляться. Погрузиться в процесс, уйти от суетного, увлечься. И получить новое качество, как приход получают наркоманы, этаким позитивный балласт положительных эмоций. Если серьезно — этот запас, может быть, и есть то единственное, что хранит художника в невзгодах.

Но давно особых неприятностей не случалось, если не считать последнего отказа. Запоздал он и не остановил меня перед пьянством. Да и какие неприятности могут быть у человека, если он искренне один. Одиночество как бы укутывает, изолирует, забирает в невидимый кокон и оберегает от бед.

Я волен был распоряжаться собой: работал сколько мог или сколько хотел, — сеанс утром и сеанс вечером, — а днем оставалось несколько пустых часов. Это время я использовал для службы, которую подыскиали друзья, ведь жить на литературные заработки — сомнительная возможность. И в моем положении никакие деньги не могли быть лишними.

Остальное время я читал и слонялся по городу. Бродил излюбленными маршрутами или наугад: по бульвару, через парки и садики, вдоль по набережной ближнего канала до другого канала, проходил над зеленой зацветшей водой по узким пешеходным мосткам, проходными дворами возвращался к дому. А то — уезжал в новые районы, к друзьям, где уютно покормят ужином, и собираются веселые компании, и вино, и старомодные танцы при свечах под яростную музыку. Или в кафетерии на Невском, нарвавшись на приятеля-поэта, за чашкой кофе выслушивал стихи. И можно было неторопливо помешивать ложечкой тройной кофе с пленкой пены и вслушиваться без конца в подымающий монотон читающего голоса, завораживающего нечаянным акцентом на метрических ударениях.

Никто не ждал, никто не торопил. И что могло быть лучше, чем одному не спеша возвращаться в уют квартиры и

тишину, где комната ждет тебя такой, какой оставил. На рассвете, среди ночи или просто вечером зажечь повсюду свет (в коридоре, над столом, на кухне), в освещенном пространстве слоняться неприкаянно. Или сесть читать. А лучше опуститься в кресло у проигрывателя и слушать музыку, дремать и проснуться под утро от ветра и дождя, влетевшего в окно.

Еще хорошо бывает, проходя через сад во дворе, взглянуть, подняв голову, и увидеть на стене свое окно. Но тут... Хорошо увидеть свое окно освещенным. Да, войти во двор и, пробежать несколько шагов тропинки меж кустами, уже под деревьями вдруг вскинуть голову и за ветвями отыскать на светлой плоскости фасада знакомый прямоугольник, и убедиться, что он освещен.

Давно это было.

Но, возвращаясь на днях, проходя в сумерках двор и сад, я вспомнил давнее ощущение и понял: грустная память о нем означает всего лишь, что я один.

Я один — и нормально. Во всяком случае спокойно. Это обыкновенно, наконец, — естественное состояние человека, если на миг откинуть иллюзии.

Усмехаясь и отыскивая ключ в кармане, по крутой лестнице я привычно вприпрыжку поднялся в квартиру, в камеру, в крепостной каземат, в убежище, остров, обитель грез, во вселенную, где с утра неубранная постель и со вчерашнего дня немытая посуда, но педантичный порядок на рабочем столе и в книжном шкафу, — органично совмещались здесь, проникая один в другого, хаос и космос.

Не зажигая свет, я подошел к окну и выглянул: был сад, и ветер раскачивал макушки тополей, над близкой крышей дома низко, тяжело и мрачно двигались к заливу подкрашенные закатом облака. Я оглянулся и увидел на стеллаже с книгами свой портрет: мальчик в солдатской форме, не спрашивая ничего, насмешливо поглядывал в ответ. Но об этом портрете я уже написал. Я увидел большую фотографию сына и улыбнулся ему, и подумал, что давно у него не был, и не придумал новой сказки. Чуть в стороне, прикры-

вая темные тома Шекспира, стоял портрет отца, еще молодого, еще музыканта в каком-то джазе, — но и о старике я написал целую повесть. Птица громко крикнула за спиной, пролетела над окном. И тут я вдруг понял, что некому сказать, пожаловаться некому: „Вот, мол, так и так, — героиня моя, Марина, не желает в воду входить. Я на берег ее с замечательно веселой компанией доставил, мальчика ей такого нарисовал — литератора! Друга миллионера приставил. А она... Ни за что не хочет в воду войти. Не идет. Такие дела!”

Тогда и подумал я: ох, если бы среди ночи, проснувшись и обернув вокруг шеи гладкую руку в ответ на понимающее „Ну что она? Снится?..”, безнадежно прошептать: „Не идет...” и словно бы камень выпустить — тот самый, что с тайным трудом вкатил на гору один, выронить его и... уткнувшись носом в мягкое близко плечо, уснуть. Спать, видеть сны. Чтобы завтра опять утренний сеанс, вечерний сеанс, а днем несложная работа для денег. Правда, в сущности это почти бесполезная работа, потому что денег тогда (если не один) уже никаких не хватает. Здесь любых денег мало. Их не может хватить... Но все это только „если бы”. А на выпивку всегда хватает. И я напился.

Так случилось с Автором грех. А все от того, что героиня не пожелала в воду войти. И не потому, что была она северянка или не любила купаться, воды боялась. Нет. Но не желала.

Итак, я обошелся без мягкой ночью руки и нежного вопроса. Перехитрил сумрак своей комнаты. Взял и, как есть все, выложил читателю, с ним поделился, пожаловался письменно: „Не идет, и все тут!..” Но вот почему не шла она в озеро, не мог понять. Извелся. Снился мне вопрос.

Зациклился я (ведь и самому не разобрать, кто с экрана в зал спустился: Колдунья или Марина?). И тогда вспомнил последний способ. Заметил я за собой сдвиг и, чтобы избавиться от чар моей колдуньи, отправился на „Кронверк”. Была такая яхта. Она стояла на приколе у Мытнинской набережной. А на яхте, в кубрике дымился бар. В том баре у

меня один знакомый, Сеня, барменом работал. Он прежде у нас в Доме Писателей за стойкой маячил, а теперь на „Кронверк” перешел. Романтика обуяла.

Я сел напротив, отхлебнул из бокала и спросил:

— Сеня, дело, конечно, красивое — „Кронверк”. Работа под парусом. Но в Доме у нас ты больше имел.

— Примитивный человек, — снисходительно определил меня Сеня. — Думаешь, если бармен, так он все на капусту мерит? Тошно мне в Доме Писателей сделалось от этой вашей мелкости. Понимаешь, тошно... Я прежде в ресторанчике возле порта работал, так вот я тебе скажу что: рыбак, работага, ваш брат писатель — затюканные вы. Личностей нет... Мало, — поправился он. — Рыбак из плавания придет и гуляет, рвет рубаху. Или работага с получки. И писатель тоже с гонорара дорвется, гудит! Угощает без разбору друзей, завистников, незнакомых — все равно кого. Удовольствия осмысленного не понимает, чтобы с хорошим человеком выпить, потолковать. Да и о чем? Понаслушался я писательских разговоров, вот уж действительно ни слова умного, ничего тебе духовного, а все о какой-то редакции, да о переводах, о тиражах или у кого, где, что прошло, с кем договоры заключили, кому позвонить, с кем поговорить можно. Или о бабах. А то об американских сигаретах начнут. Сами „шипку” курят, а туда же. Ну, а начальники ваши, секретари — те только о бабах да о сигаретах. Бывает еще про за границу начнут: так опять, где что покупать или не покупать. В литературе, наверное, и не смекают. Где уж им! Некогда читать — сами пишут... А как похмелье развезется, денежки-то тю-тю! — мелкая рыбешка опять пьет в долг, а крупная дома пьет или в других ресторанах, где не знают, какое фуфло эти писатели. В других ресторанах им из уважения и коньяк, может, не так сильно разбавят и рыбку посвежее подадут, — много дураков есть среди официантов. Раскроют рот — писатель, мол, за моим столиком. Я бы на их месте... Эх, скукота!

— А здесь, в „Кронверке”? — спросил я, придвигая к себе бокал, чтобы ненароком увлекшийся Сеня туда в знак про-

теста не плюнул. Хотя он и был мне приятелем, но в России, если дело дошло до полемики, страсти кипят, и лучше быть начеку, особенно если с трудом наскреб на коктейль.

— Здесь? — словно эхо откликнулся бармен и огляделся.

В полумраке за столиками сидели мужчины и девушки, и просто мужские компании, занятые приглушенным разговором. Мне присутствие их ничего не говорило, но похоже было, Сеня многих знал в лицо.

— Зде-есть? — Сеня понизил голос доверительно и протянул негромко. — Сразу и не объяснить, особенно чистоплюям вроде тебя. Ведь ты со своими принципами, как на протезах, — не гнутся. И можешь многих запросто подонками считать. Некоторые и есть подонки. Но в основном люди, которые под общую мерку не подходят, не помещаются в стандарт. Иногда экземпляры попадаются — любо-дорого!.. Недавно, весной, угонщики автомобилей резвились, крутые ребята. А так, кроме прочей публики, бывают валютчики, крупные деятели, начальство разное... Можешь морщиться сколько угодно: это ведь все равно, что ты морщишься, — просто, значит, писатель ты хреновый, если не хочешь сначала разобраться, если не интересно тебе, а сразу морщишься... Ведь люди они. Понимаешь? Ведь задумаешься, глядя: а что я? На что годен: только пенки снимать или человек? А знаешь, каким может быть человек разным, а? Ты знаешь? — Сеня замолк и добавил уже совсем тихо и не так уверенно. — Я здесь, может, впервые сам уважение почувствовал. К себе.

Так сидели мы с ним друг против друга и толковали. Сеня бойко клиентов обслуживал и ко мне успевал. Он все что-то рассказывал и рассказывал. А я слушал его, старался. Но он заметил, что я поскучил и:

— Как там наши знакомые? — спросил он после четвертого коктейля, когда я уже раскачивался на табурете в такт разухабистой мелодии рок-н-ролла, бесконечного, как лента на магнитофоне, за спиной у бармена.

Сеня и сам осоловел. Обычно он держал себя в строгости, но в тот вечер не утерпел, за дружбу пропустил не одну ко-

ньяковую стограммовочку. И когда я уже собирался уходить, поднялся — денег после трех коктейлей не осталось — Сеня сбил четвертый коктейль.

— За счет заведения, — сказал он и тут же опять вспомнил. — Как твоя „драктика“? что Колдунья? не надоел ей этот тип? — и добавил, погодя. — Зачем ты его писателем сделал? Уж лучше бы он был барменом, то и другое — сфера обслуживания... Или совесть притиснула?

Тогда-то я опять и ощутил себя, словно бы под окном во дворе напряженно вглядывался в очертания знакомого прямоугольника, стыдась потаенной надежды вернуть утраченные отблески того далекого и давно прожитого тепла и света, что не могут быть названы.

Было ощущение это похоже на то, что посетило моего героя, Писателя, перед обрушенной стеной родного дома. За этой стеной, казалось ему, сохранялись от времени и растлевающего воздействия нынешней суеты тайны детства, солнечная запись на ленте памяти, непостижимо, но очевидно привязывавшая его корнями человечности к реальному месту — старому дому. И вдруг мавзолей оказался пуст, разрушен. Расколота стена легла на проезжую часть, открыв гнилую коммунальную суть жилища: рваные обои, обвалившаяся штукатурка, провисшие балки, разоренные комнаты, лестничные марши, ведущие в никуда.

Еще более это ощущение было похоже на то, что посетило моего героя в кинотеатре, на сеансе „Колдуньи“, когда во второй главе он опрометчиво влюбился и возжелал лесную девушку или саму Марину Влади, — кого именно, я не знаю точно, не могу решить, — она сошла к нему и осталась, согласилась поехать на озеро купаться голышом.

Ситуация мне поддалась и завязка получилась легко. Однако в воду почему-то девушку загнать не удавалось. Мы ссорились с главным героем:

— Что ты за мужчина! — говорил я обидные слова.

— Сам заварил кашу, сам и расхлебывай, — огрызнулся он, но все-таки боялся, что я отложу записки, уберу рукопись в долгий ящик, — тогда ему конец.

С Мариной было труднее. Молча она стояла у воды на песке. Венера в свете автомобильных фар. Вокруг визжали пьяные девицы.

— Ну, — говорил я ей. — Смелее... Смело, смело.

— Да, — соглашалась она, смотрела на меня испуганными глазами. — Если ты хочешь...

И оставалась неподвижной у воды, беззащитно стыдась прикрыться. Я не мог стронуть ее с места. Не мог действие столкнуть с мертвой точки. И... попал в „Кронверк”.

Напился я вместе с Сеней, нарвался на вопрос, которого старательно избегал весь вечер, но ради которого пришел именно сюда, а не в другое место. Бармен был моим почитателем. Неопубликованные повести он прочитывал взахлеб. А потом разбирал. И суждения его я предпочитал рецензиям всех официальных оппонентов. А за то, что я выслушивал разговоры, он угощал меня бесплатными коктейлями.

Так вот, сидя на хлипком табурете под ослепительным Сениным взглядом, я, как и герой мой тогда в кинотеатре, почувствовал внезапно, словно расщепили меня на „меня” и „неменя” или с единственного места согнали, и не возвратиться назад.

— Что молчишь? — насторожился Сеня, хотя и был он пьяненький, все-таки насторожился.

— Списался мой Писатель, — с неосторожной прямоотой ответил я, еще не понимая, какая может быть связь между нежеланием Марины окунуться и творческим кризисом главного героя, но ощутил, как от тяжести гнетущей освободился на какой-то момент и, пытаясь сохранять равновесие в том легком внезапно состоянии, навалился на стойку. — Скурвился он на халтуре, понимаешь! Теперь больше ни на что не годен. Не только в прозе, а вообще ни на что... Так-то вот.

— Все ясно, — догадался Сеня. — Опять с какой-нибудь девчушкой накладка вышла? Небось перебрал перед этим, а потом не смог, а? Сознайся, старик?! — добродушно ухмыльнулся он и даже протянул руку через стойку, чтобы потрепать мое плечо. Не хандри. С каждым может случиться.

Это ничего... Подумаешь, — возмущался он. — Какая-то соплюха зеленая не сумела тебя расшевелить, а ты сразу и скис: списался! списался!.. Да какая может быть халтура, что это за халтура, если ты полуголодный ходишь, вон с трех коктейлей окосел. Когда это было, скажи! До какой жизни дошел! А? Обедал сегодня?.. Небось голодный?

— Но была халтура, — оправдывался я. — Театр... Пьеса про пионеров.

— Оставь, — самоуверенно отмахнулся бармен и отхлебнул из чужого бокала. — Когда это было. Нашел что вспоминать.

— Но было, — сказал я тихо и добавил осторожно, а может быть просто подумал про себя. — Ничто ведь не безответно. И рано или поздно...

Но Сеня и слушать не желал.

— Признайся, — хохотал он. — Ну, скажи, — подначивал. — Не вышло у тебя с какой-то девчушкой? Дал осечку, и все дела. Зачем усложнять, интеллигенция!

Что я мог возразить? Да и могло ли иметь смысл возражение, если, как и мои романы, я сам был для читателя моего текстом. И он, нисколько не печалась о тайне кода, вдохновенно толковал этот, подвернувшийся сюжет.

Мы часто не учитываем того, что читатели так же субъективны в своем творчестве, как и писатели. Коктейли пятый и шестой мы пили вместе, пока я втолковывал бармену что-то о причинах модной нынче нелюбви к Хемингуэю.

Лет пятнадцать назад, внушал я ему, многие, кто зачитывался хемингуэевскими романами, принимая предложенный новый мир и новые проблемы, воображали и представляли себя на месте да и самими Джейкобами Барнсами, лейтенантами Генри, а позднее и Джорданами. Прикидывали все на себя, что, наверное, нормально в процессе восприятия. Что же касается реальной, иногда пошлой в своей обыденности жизни то, когда предрассказанная американцем ситуация прорезалась в русской повседневности, когда многие оказались в хемингуэевских долгожданных, но незавидных позициях (не совпадали лишь бытовые черты, реалии), и жизнь

потребовала мужества и выбора, — начинка у слишком многих не сочеталась с эталонами, с идеалами (кишка тонка), да и не могла совпасть: не всем быть героями, а уж литературными героями и подавно. Тогда и случилось разочарование. А виноватым остался Эрнест Хемингуэй.

Теперь в неширокой культурной среде сильно увлечение Набоковым. И уже (могу отметить) поклонники автора „Лолиты“, поторопившиеся испробовать прелести запретных страстей, но покусившиеся расстаться с ветошью просветительства (зря, что ли, Чернышевского в школе полгода долбили?) и иным хламом похотливого гуманизма, недоучили, что „Лолита“ все-таки роман и имеет конец, своевременную композиционную точку. В результате такого буквализма лбы их украсились скоро рогами. А сами скороспелые поклонники начали испытывать некоторое разочарование и в стиле, и в концепции привезенной из Швейцарии прозы: Набоков-де виноват.

Так из века в век. И поди попробуй убеди читателя, осуществляющего свое интуитивное право, раскрой ему глаза на то, что роман не слепок и не снимок, и вовсе даже не картина обыденности или какой-нибудь действительности, а особая форма жизни. В недавние времена за такие объяснения можно было головой поплатиться. Да и теперь не все просто.

Впрочем, читателю лучше и вовсе не знать этого.

Потому: если писатель — пчела, собирающая нектар с ядовитых цветов очевидности и перерабатывающая его в мед, в чтиво — писание есть функция интегрирующая, — то для другой, более определенной категории людей чтение давно сделалось составляющей общего процесса естественного обмена веществ, — и то, и другое, суть, функции жизненные.

Приблизительно это, только заплетающимся языком и еще более занудно, я попытался изложить меж пятым и шестым коктейлями. А Сеня внимал. Он честно силился понять.

— Все ясно, — сказал он, не видя меня сквозь меня, — признайся лучше, что ты сделал с той девушкой? Уже забыл,

как ее?.. Помнишь прошлогоднюю историю с ночным купанием и гонкой? У вас, кажется, случилась авария?

— При чем прошлогоднее купание? Какая авария? — пытаюсь оправдаться я.

Но появился метрдотель. Сеню заменили у стойки трезвым официантом и вызвали к бару такси, чтобы отправить моего приятеля домой. Здорово мы нагрузились, и, хотя я еще как-то держался, это было лишь видимостью. А бармен и вовсе был хорош.

Но такси мы отпустили и долго шли вдоль набережной. По неведомым мостам переходили реки (хорошо, что не вброд). В жизни я такого количества рек не переходил.

— Неспроста, неспроста, — долдонил Сеня. — У тебя что-то на совести.

Он явно опустил прежнее толкование и увлекся новым.

— Куда ты дел красотку из французского кино?

— Никуда я ее не девал. Договорились купаться, приехали на озеро, а она не хочет. Сначала вроде согласилась, а теперь ни в какую.

— Так и стоит у воды?

— Стоит.

— Голая?

— Еще бы!

— До сих пор стоит?

Я не отвечал.

— Тебе надо в это дело вмешаться, — сказал Сеня.

— Но как!

— Вопросыки тоже задаешь, — возмутился бармен. — Кто из нас писатель?.. Может, тебе самому надо выкупаться с ней сначала, а потом писать? Когда ты последний раз ночью голый купался?

— Прошлым летом.

Сеня икал, погруженный в алкогольную нирвану.

— Ладно, — промолвил он, наконец, после сосредоточенного молчания. — Меня к этому делу не лепи. Расхлебывай сам. Кто знает, что у тебя на совести.

— Я и не леплю. Нужен ты мне.

- Вот и не лепи.
- Хорошо.
- Сам выпутывайся.
- А иди ты...
- Сам иди.

И я пошел, не оглядываясь, твердо и старательно ставя ноги. Я шел той слишком прямой походкой, какая невозможна для трезвого, и удивлялся себе. А вдогонку неслось:

— Не обижайся, писатель. Ты приходи.

Я не обижался. Нельзя обижаться на современного читателя. Его тоже надо понять. Ух как не легко ему, бедолаге, настолько, что даже классику он в себе почище всякого сюрреалиста преломляет. Подумайте сами, каково, если уже при чтении только названия „Записки из подполья” у современного читателя возникает такой многообразный ряд ассоциаций вокруг слова „подполье”, какой Федор Михайлович просто не мог иметь в виду.

Я брел домой, и ночной город принимал своего Автора, впуская меня в пространство прострации. Я протыкал торжественную лень пейзажа. Вокруг заострялись черты робинзоньего века. Я спешил к дому. Коммунальной сущностью своей, так же как и эклектическим фасадом нетиповой архитектуры он противостоял кооперативному дому писателей, куда музы (их отпугнула электронная консьержка) забыли дорогу и где, словно бы приветствуя вечную весну, распускались цветущие геморрой.

Меня не понял мой единственный почитатель. Он хотел. Я верю. Он не нарочно. Он желал мне только хорошего, считал, что поступает гуманно. Но мальтузианство тоже последовательно выходит из гуманистической идеи.

А я? Тоже оказался хорош. Защищаясь, писательским высокомерием я затронул клитор его души. И он засопел.

Но ничего. Обоим пойдет на пользу эмоциональный моцион. Оба мы встряхнулись. И, наверное, он был не так далек от истины, иначе — что бы я завелся? Давно ведь ясно: прельстительные идеи — всего лишь прикрытия потаенной сути. Даже высокая поэзия более не светится сво-

бодой. И христианские выверты современных поэтов — вздор, маска, скрывающая прелестные гримасы комплексов.

Так думал я, в извинительном состоянии возвращаясь домой. И теперь, когда все это обстало вокруг, за нагроможденными фразами я рассмотрел нечто иное. Вернулась способность видеть. И вот:

... Алик, толстый и добрый, смеялся и, на ходу раздеваясь, спускался к воде вместе со мной... Простите, уже с моим героем... Алик был уверен, что хорошего человека должно быть много, и забавно хлопал себя по жирным ляжкам. И я был рад снова его видеть. Ведь благодаря Алику (но теперь уже не моему приятелю, а литературному персонажу), главному герою этих записок, Писателю, пришлось пойти на „Колдунью”. И он любовь свою увел не откуда-нибудь, а с экрана — увидел, пожелал, увел. Сделано было просто и без прелюдий, в стиле „настоящего мужчины”. У фрейдистов на то особое мнение, но бог с ними, с фрейдистами. За этого героя пока я был спокоен: он получит свое. Никуда не денется, хлебнет бедовой водички и в шестой главе и в последней. А вот героиня! Что же она?

Марина с любопытством смотрела на разоблачавшихся мужиков. Она все еще стояла у воды.

Две „волги”, вишневая и синяя, Сережино такси, два „москвича” и шесть человек вместивший Алькин „жигуленок” доставили к лесному озеру подгулявшую компанию. Рев моторов, автомобильный свет, выкрики, звон привезенной посуды, а также ночная музыка — пьяный праздник вспугнул тишину. И когда кто-то предложил купаться нагишом, и все стали раздеваться и двинулись к воде, вдруг вспыхнули „дальним светом” автомобильные глаза...

В этом месте внутреннему взору терпеливых читателей предоставляется свобода вообразить сообразно индивидуальным запросам картину разнузданного шабаша на берегу. Добавлю только, что тела второстепенных персонажей пьяно

резвились в лучах фар-прожекторов, нисколько не помяная о стыде, — его как бы не существовало.

Но главный герой, он же Писатель, смущенный и худой, стоял возле Марины, глуповато разглядывая белую полоску на смуглом своем теле, на южных пляжах ее защитила от солнца невинная тряпица плавок, а теперь... Марина сказала:

— Да. Конечно. Если ты хочешь.

Но остановилась у воды.

И он, в обычной жизни, казалось, развинченно свободный, похоже было, что не решался без нее войти в озеро. Подтолкнуть тоже не решался. В ярком свете, рядом с автомобилями она стояла просто и открыто. И тогда он поймал себя на мысли, точнее на желании вернуться и что-нибудь надеть. Но, улыбаясь, она заглянула ему в глаза, словно спрашивая молча: „Ты доволен?“ И он уже не помнил, где оставил одежду. В каком месте на берегу. И сдвинуться не мог.

И я дальше того места не мог продвинуться в своих записках с пунктирными наметками сюжета. Несколько дней писал длинную, всю из пространных отступлений, только что вами прочитанную главу. Не знал, что делать. И догадался только теперь.

Я отодвинул микрофон и встал из-за стола. Достал из машинки лист. Внимательно прочитал последние строчки. И...

... спустился из комнаты, как и подобает Господу в своих владениях, прямо к лесному озеру. Пинком прогнал голого, лохматого нахала биолога из кабины крайней „волги“ и выключил свет. Затем направился к другой машине, к третьей. И когда на берег вновь опустилась темнота, крики как бы сами погасли. Слышался теперь лишь плеск воды и тихий смех, негромкие голоса. Марина заметила, махнула рукой, что-то шепнула бесшумно. Но в затухающем свете последней фары я не разглядел ее послания. Не спеша, с сознанием выполненного долга я поднялся в комнату, вернулся к столу и, оглянувшись, увидел: под звездами в лунном свете на притихшем берегу тень девушки попробовала воду ногой. И главный герой, Писатель, наконец, повернулся к ней и подал руку...

Опираясь на протянутую руку, она шагнула к воде и боязливо, словно стыдясь водобоязни, попробовала волну ногой. В гаснувшем свете автомобильных фар я последовал за ней, удивленный улыбкой и приветственным жестом: Марина помахала рукой кому-то возле машины. И, когда невольно я оглянулся, мне показалось, человек, выключивший свет, откуда-то мне знаком — я его видел, может быть общался. Более того, я тут же понял, кого он напоминал: меня самого, только постаревшего, раздавшегося в толщину, обрюзгшего и с длинными волосами. И еще: мне показалось, что он, словно бы любясь нами, ответно улыбнулся и тоже помахал рукой. Впрочем, улыбка предназначалась Марине, она первая приветила его. И сразу же шагнула дальше в воду, увлекая.

В смятении и сбитый с толку, теряя равновесие, я последовал и, когда она опять обернулась, падая, столкнулся с ее горячей грудью и обнял, и удивился тому, какая она вся была горячая и дрожала. В прохладной духоте лесного августа, в прозрачной дымке вялого тумана, встававшего над рощей, ощущение было так необычно, что, как только она прижалась, ласково боднула мое плечо подбородком, я сразу выпустил ее. Но за те несколько мгновений, что побывала она в моих руках, Марина сумела успокоиться. Я почувствовал: пропала дрожь. Взявшись за руки, мы бодро двинулись вперед, разбрызгивая коленями луну.

Когда вода покрыла ее бедра, она высвободила руку, остановилась, часто задышала. Я погрузился в воду по шею и, не подымая брызг, медленно поплыл подле нее. Она шла рядом, забавно вздрагивая, когда полоса воды поднималась выше. Мы оба тихо смеялись. И мне казалось, я вижу, как втягивается ее испуганный живот.

Тогда мне пришлось встать рядом и, обняв левой рукой грудь и плечи, правой осторожно плеснуть на спину. Испу-

ганно она сказала: „Ой!..” И легла на мою левую руку. Мы поплыли вместе навстречу туману.

Шум, визги и возня на берегу и в камышах на взбаламученной отмели сделались неслышны. Может быть, там и происходило что-то, но было необыкновенно далеко, вне нас, почти в другой повести. Играя, как дельфины, над глубиной мы гладко касались спинами, сплетали ноги и расплывались в разные стороны, медленно теряя в струящейся воде сладостную память прикосновения. И возвращались опять, чтобы коснуться.

— Намочил мне волосы! — смеялась она и уворачивалась веретеном, бело выгибалась и рассекала черно-зеленоватую толщу упругими ногами.

Усталые, мы плыли на спине. Сильная по-детски, ее рука скользила нежно, отряхивая капли с моего лица, от подбородка к низу. В ожидании я замирал. Она смеялась и прониживала подо мной. Все повторялось вновь.

Тем временем на берегу веселье поутихло, разожгли костер, который мы сперва не заметили, а узнали по горькому запаху дыма. Под звездами на берегу лес темнел стеной. Алые всполохи костра выхватывали из мрака искривленные ветви сосен, стройные фигурки елей, людей на берегу.

Из воды мы направились к огню. Среди одетых друзей принялись искать свою одежду у машины, не обращая внимания на чьи-то шуточки.

— Дай простынку? — попросил я Надю.

В ответ она рассмеялась.

Алик сочувственно пожал плечами:

— Мне тоже не дала.

— Возьми, — сказала Марина и протянула свое полотенце.

Пока я неторопливо вытирался, она дрожала рядом от озноба. Легкий ветер с озера, сначала незаметный, пронизывал насквозь. Когда я растерся, она прислонилась спиной к моей груди и прошептала: „Теплый...” Растерла уже сырым полотенцем тело и накинула Надин купальный халат.

Застегнув брюки, на ходу засовывая рубашку, я двинул-

ся к огню, где вкусно пахло жареной колбасой. В стаканы наливали бесцветную водку. В пути успевшие протрезветь, биологи опять закосели.

— Будешь пить? — настороженно спросила Марина.

Вытряхивая воду из уха, я лишь косо качнул головой в ответ, что могло означать одно: нет, не буду, — не этого хотелось. Но она протянула кусок хлеба с куском дымящегося мяса и горячего сыра.

— Давай вместе. Чуть.

Но по „чуть” не получилось. Мы поделили стакан водки пополам.

Разомлевшие биологи под гитару пели беспокойные песни. Кто-то подбрасывал новые и новые ветви в костер. Его отговаривали. Опасались, что огонь подберется к машинам. Дверца одной кабины была открыта, и я увидел: на сиденье целовались две девушки. Марина сидела на корточках спиной к огню, сушила распущенные волосы — колдунья. Я наклонился к раскрасневшемуся от кострового жара лицу и, словно бы собираясь шепнуть, прижал зубами мочку уха. Она вздрогнула и, тонкой ладонью скользнула под закатанный рукав рубашки, ответно пожала руку.

Вместе мы вышли из круга алых отблесков. Босые ступни холодил тонкий песок. В темноте белела тропинка, уходила в заросли малины. Миновав кусты, мы углубились в чашу. Но через минуту опять вышли на берег, по-видимому, озеро здесь образовало залив. На светлевшем песке мягко таяли тени сосен. Даже луна ушла, укрылась за невидимым облаком.

— Марина? — прошептал я, опускаясь рядом на махровый мох халата и странно понимая, что не могу унять нечаянную дрожь, едва различил в темноте теплое пятно — ее губы.

— Да, — тогда прошептала она.

Это продолжалась ночь согласия.

О, сладкая вина любви... На миг опустошенный, не отдавая отчета в происшедшем, с откинутым к небу лицом я лежал навзничь, распластавшись, запрокинув затылок на выпуклом склоне берега: высоко над глазами в акварельной

дымке недоумения видел двойные неверные звезды и, устремленные вверх, острые струны травы.

Марина вышла из озера — я слышал, она вытиралась. Ее лицо взошло и приблизилось, закрывая звездные облака, и волосы упали мне на лоб. На мгновение мы оказались опять вдвоем, отделенные от мира шелковой завесой. Легкое ее дыхание было горячо, как упрек. В ней бродило выпитое вино возбуждения. Озерная прохлада не смогла умирить его. И я опять почувствовал вину.

— Я давно один. Уже и не помню...

— Не надо. Я все знаю, — ответила она.

И я молчал.

Я молчал под ветвями сосны, в ночи скрипевшими в приветствии предутреннего ветра, под смутным светом двусмысленных светил, под ласками ее ожидания.

Нет, никакими скользящими извивами стиля не передать смысл тайны, что скрывают шершавые изгибы языка и замирание сердца, и влажный след прикосновения. Любовь — блистательная форма умирания, и ей чужда семантика сантиментов. Но где тот пронзительный стиль, способный выразить, что сердце принесло на дионисиев алтарь, когда меня впустили ее колени, и в горячем мраке я узнал запах озерной воды, и на губах остался вкус парного молока и кислота травы. Этот стиль не дается, как ее тугие ноги, ласкающие мою шею в счастливой гимнастике любви. Он близок и недосягаем, как голубые подколенки возлюбленной.

Меня позвали:

— Иди ко мне... Я больше не могу так.

Я пророс в нее. Она закричала счастливо и пронзительно. Белое тело билось в моих руках. И, не сумев вырваться, она ушла сквозь пальцы, как время, как легкий пар дыхания. Затихла. Лежала неживая, опустошенно. Так жизнь ускользает.

— О, Господи, — узнал я ее голос, едва слышный. — Я и не знала, что бывает.

Все, что произошло затем, не имеет прямого отношения к Автору. Но, по-видимому, каким-то боком его касается. Иначе зачем бы он это затеял: вывел главным героем меня, назвал писателем, принудил все проделать.

Я понимаю, в нынешней литературе, добропорядочной, трезвой, не принято, чтобы герои бунтовали, восставали против автора. И потому — извиняюсь. Но все-таки считаю необходимым заявить (подмывает томительная потребность предательства) и говорю: может быть и скорее всего не случайно он (то есть Автор) такую историю завернул. Даже Сеня-бармен о чем-то смутно догадался. Было у Автора моего прошлым летом приключение с ночным купанием, с аварией. И халтуру похожую для детского театра он сработал, вроде бы даже про пионеров. Нет, я убежден вполне, даже не сомневаюсь: есть у него груз на совести — лежит, давит. И все не случайно.

Но так размыты границы между вымыслом и смыслом, что комплекс авторской вины даже мною едва угадываем. А от читателей я не требую такой пронизательности, не надеюсь. Потому, наверное, предаю Автора. Называю запретные вещи. Может быть, из боязни, что они беспечно незаметными мимо читательского внимания пройдут. А еще потому, что гнетет меня предчувствие: что-то он задумал, что-то случиться должно со мной или с Мариной.

Я не успел ее полюбить. По сюжету, пока об этом не должен догадываться, но уже люблю. И не имеет значения никакого значение. И даже то, что в этом знании я признаться себе не хочу, тоже не важно.

Нет, я предчувствую, не зря стремительно развивается авторская затея. Быть может, то, что должно произойти в дальнейшем, если удастся ему дописать, его поддержит, выручит, избавит. Наконец, спасет. Но меня страшит судьба молодого Вертера, которого лукавый Гете так ловко склонил к самоубийству, благодаря чему сам уцелел.

Пока это лишь домыслы — следствие предчувствий, неизъяснимых знамений. Судьба моя в воле Автора. Это она, его последовательная воля художника, подняла меня из-за

стола, не дозволив закончить муторную работу, авансом уже оплаченную, и бросила сюда, на вымысленный берег в объятия киноколдуньи. Где это видано, чтобы девушки с экрана сходили и прямо на ложе.

Притворно я дремал в ее объятиях. После любви было одиноко, голодно и легко. Но не свободно. Как будто облекли меня, доверили, — но поделиться невозможно. И я молчал.

— Мы вместе, — повторила она, — теперь... всегда... — вечные слова.

Я молчал, что не было согласием, не могло означать согласия, но могло быть принято за согласие. И этого, казалось, достаточно вполне — под ее ласками молчать было легко. Но я ждал уже, когда меня оставят. Одного. Нет ничего мучительнее, если ощущаешь одиноко себя, а не один. Есть в этом раздвоении бездна. И если мужество не подскажет шаг, выводящий к естественности (в одиночестве человеку следует быть одному), то последствия такого малодушия могут оказаться губительными. Это я знал (сам ведь был писателем!), но мужества не находил под лаской рук ее, и губ, и взгляда. Не мог сосредоточиться, собраться. В тактильном плену был обезоружен. И высвободиться не желал.

Но вечные слова! — они, такие затертые в литературном обиходе, кто мог бы подумать, что в извивчивых изгибах ее языка восстанавливался их первоначальный смысл. В ее произношении он вновь обретал невинность. Для меня слова эти были скомпрометированы и обесценены, словно бы захвачены липкими пальцами в случайных употреблении. Как литератор я понимал: ничто не стоит так дешево, как слово. Я еще не знал: ничто так дорого не обходится.

Легко раздраженный звучанием банального напева: „любовь, мой милый, навсегда“, — не понял я, не заметил, что в интонациях ее не было даже оттенка матримониальности. Никто на меня прав не предъявлял. Претензии отсутствовали. Теперь, вспоминая, я это точно понял. Но тогда, по-видимому, оттого, что никак не выделял эпизода на лунном

берегу из пестрого калейдоскопа фрагментов своей беспорядочной жизни, — не вслушиваясь в ее слова и пропуская мимо над собой смысл естественного танца ее жестов, одновременно не позволял себе погружаться в собственную глубину, где подкарауливал риск обнаружить, наткнуться на нечто новое, только что зародившееся и еще целое (нерасщепленное пока!), — я, как будто не было рядом этой девушки из французского фильма, кроил, строил ситуацию по правилам литературного искусства и подлого опыта.

Может быть, инстинктивно я преиспуган, что признание сегодняшнего исключительным, — это опасный переход, прокол! Это возвращение в сферу естественных, нормальных чувств, где нет места боязни банальности, ибо что может быть банальней такой боязни. Неминуемый облом прикрыл бы все дорогой ценой многого компромисса заполученные возможности — и утром за столом у меня рука не поднялась бы дописать сценарий или другую подобную халтуру. Из этого признания последовательно выходило, что я должен бы был навсегда отказаться от сучьего средства обеспечения собственной беспечности. Да и саму беспечность отодвинуть — этакий духовный комфорт, сытую грусть. А при всей кажущейся серьезности существование мое иначе нельзя было именовать.

Я понял.

Это было означено не словом, а каким-то внутренним, глубоко запрятанным, мгновенным, рефлекторным испугом, — в тот момент, когда я просек всю прекрасную нашу предрассветную ситуацию, — я вздрогнул.

Я вздрогнул под ее ласками. Испуганно она отодвинулась, словно бы поняла. И в следующий момент я уже знал: надо уходить.

Уйти — всегда высокое искусство. Я славлю лаконичную арию захлопнувшейся двери: парадного, троллейбуса, другой комнаты, на худой конец, уборной. Да здравствует мгновенная свобода!

Пусть потом на смену вернется сожаление, тоска, смятенные попытки возратить, реставрировать оторванное, гнету-

шая пустота, что угодно пусть — все это потом. А первый миг — звездный. И уже только ради него одного и стоит уйти, чтобы хоть на секунду возвратиться к естественной сути человеческого бытия — экзистенции одиночества.

Простите мне умные слова, я грешил и на предыдущих страницах, и на последующих они неизбежны — такова воля Автора, определившая манеру выражения главного героя и стиль языка, в котором терминология неотделима от жаргона, — как живем, так говорим.

Что же касается прощания, то всегда расставаясь, даже расставаясь с любимой, провожая ее, я неизменно испытывал мгновенную легкость, эту сладкую иллюзию свободы, подлинный вкус которой горек и непередаваем и не поддается описанию, — сладкой свободы на миг, когда еще минуту назад немыслимым казалось отделиться, и вот за последним поцелуем затворили дверь, и вдруг ноги ведут вниз по лестнице свободно и едва ли не вприпрыжку, и поразительна раскованность, и веселый насвист. А еще, перед автоматическими створками дверей станции метро: двери захлопываются с лязгом, ты отворачиваешься, и тебе принадлежит вечерний мир в слабо гудящем, мерцающем мареве плафонов подземелья. Он как бы проникает в душу, отчего слабо сжимается сердце, пустота заразительна, — ты идешь в него и насквозь, и в тот момент никому не принадлежишь и ни в чем не нуждаешься. Уходя — оставляешь, боль утраты — ощущение жизни. Только тратить, терять еще и означает жить. Остальные эмоции нынче более суррогат, чем натура.

Еще мы держались за руки, еще тесно прижимались, осторожно ступая в темноте по едва видимой, с трудом различимой тропинке. Впервые, сюда, шли мы с большей уверенностью, а теперь, возвращаясь, спотыкались.

В тот момент с наипрозрачайшей отчетливостью я понимал, как ненавижу свою работу. Мне были близки и ясны все затемненные глубины положений экономической теории Маркса об отчуждении производителя от основных средств производства. От своего труда. Причиной был характер, ко-

торый в последнее время приобрела моя деятельность. И я не в силах был отодвинуть нависшую угрозу угнетения, не представлял, как это — что-то переменить.

Казалось, чего же проще — оставь, и конец проблемам. Узлы предпочтительнее рубить. Но аванс, полученный и частью уже истраченный, обязывал. Возвратить эти деньги я мог только ценой подобной же литературной подденщины. Кроме того, заполучить такую работу тоже не просто, — конкурентов, готовых продать свои услуги и за меньшую плату, более чем достаточно.

Все это я понимал, знал и ни на что не надеялся. Разве только на то, что вскоре (осмелюсь предположить) Автор поместит меня в иной мир, где возможно заниматься тем, что мило сердцу, и благородны необходимости. Тогда моя прежняя ситуация покажется в некотором смысле более абсурдной, чем трагичной. По-видимому, это происходит из-за разницы восприятий, из-за разницы миров. И, наверное, нет ничего удивительного, что для человека вне ситуации трагедия может представляться абсурдом. В ситуации же абсурд трагичен. Я был в ситуации. И сомневаюсь, чтобы удалось мне с честью из нее выпутаться, если бы не Автор, который обязан разбираться в нюансах и находить выход. Пусть он поместит меня в мир, где уже ничего подобного не может случиться. Особенно после такого урока. Наш Автор себе на уме и, позволю заметить, кое-что смыслит в механике этой — он не так уж прост. Я говорю „наш”, потому что и вас он тоже создает, дорогие читатели. Ведь для него не важно, что вы есть по сути, — он общается только со своими представлениями. И, обращаясь к вам, он вас как-то представляет себе. И не имеет значения, что вы там такое на самом деле и что это такое „на самом деле”.

Итак, утром я должен был проснуться со свежей головой, сесть работать. Для этого надо было перепоручить Марину кому-то из друзей, сдать с рук на руки, словно бы на хранение, но, как нарочно, никого подходящего поблизости не попадалось. Одинокие приятели, всегда готовые подсобить в таком деле, в тоске разбрелись по лесу или лежали

пьяные. Я уже готов был объяснить сомнительное это отсутствие охотника на чужую девушку, оставшуюся без присмотра, колдовством. Я как бы даже знал это наверное. Но как ни старался разоблачить колдунью, присмотрщика ей не нашел.

— Не надо, — сказала она, как будто что-то поняла в моей затее (а если колдовство, то ведь поняла!).

„Если колдовство?..” — повторил я про себя в испуге и от безысходности, — словно крестным знаменiem спасаясь от нечистой силы, — налил себе стакан водки. Водка, я точно знал, спасает. И от более могучих чар. Это был хоть не единственный, но самый доступный и верный способ самоустранения.

После второго полного стакана водка потекла из носа. Я допускаю, что это произошло вследствие воздействия чар, предназначенных отвратить меня от алкоголя. Но долгий опыт литературной действительности не так легко перешибить. С наскоку его ни гипнозом, ни аутотренингом, а уж колдовством и подавно не возьмешь. Марина, ее лицо в размытых контурах проплыло где-то близко. Виноватые глаза испуганно останавливали меня. Я это понял. Но в тот же миг и она что-то поняла и оставила свои усилия. Смысл ее взгляда рассеялся. Глаза сделались пустыми, ненужно красивыми: в зрачках качались отблески костра.

— Почему? — спросила она тихо, и вздрогнули виноватые ресницы. — Зачем?

Я ухмыльнулся и стал искать оставшуюся водку. Выпитое уже действовало, — мне было трудно сосредоточиться.

— Если хочешь, я уйду?

Я молчал.

— Тебе трудно, да?.. Зачем ты над собой такое делаешь?

Я только ухмылялся. И это было все, что я мог.

Блаженство подступало к горлу. Я поднялся. Я собирался отправиться за кусты, чтобы она не видела как. На это соображения еще хватало. Но тут кто-то опять наполнил мой стакан. Подавляя в горле спазм, я поднес его ко рту.

- Ты не свободен? — догадалась она в последний момент.
— У тебя есть кто-то?
— Не-ет... Ни-и-кого.
— Но ты не свободен!

Освещенный алыми всполохами, мир вокруг качался, как в бурю лес. Озеро, словно огромный таз, наполненный расплавленной латуной, все норвило выплеснуться на берег.

Босой ногой, спяну, я пнул тлевшую головешку и обжег пальцы. Я был пьян и одинок. И несвободен. И ничего не мог переменить.

Марина взяла стакан из моих рук, вылила немного водки на пальцы правой ноги.

— Это ничего. Не жадничай... Помогает от ожогов.

Оставшуюся водку я допил и бросил стакан в пылавшие поленья. Потом пытался завести автомобиль. Меня тащили из-за руля, успокаивали, укладывали на раскинутом сиденье. Марина ворковала рядом. Это я еще помнил.

— Ничего. Все ничего. Ты успокойся. Будет хорошо, — шептала она. — Я рядом. Я отвезу тебя домой.

Домой!?

В какой-то момент я протрезвел, панически соображая: стоило ли напиваться, чтобы все-таки попасть к себе домой вдвоем? Именно этого я пытался избежать весь вечер.

„Потом, когда-нибудь, когда я закончу, когда надо мной не будет тяготеть это проклятье, эти договоры, о, эти деньги!.. Когда... Но когда это будет?“ И могло ли такое быть?

Я был не в силах сосредоточиться и, проваливаясь в мутную мототень, последнее что успел сделать, я успел оттолкнуть ее и запомнил мягкую податливость плеча под ладонью и помертвевшее лицо.

— Пусти... Я не хочу.

Потом мне было плохо. И все хуже, хуже. Долго она молчала, помогала молча. Наконец, я отдышался. Платка в кармане не оказалось, сквозь бред я догадался: она вытирает влажными трусиками мне губы. В другой руке держала бутылку водки. Пила одна.

— Наверное, я подонок... а?

— Да... — отхлебнув глоток, согласилась она; в ту ночь она во всем соглашалась. — Ну и что? — и положила прохладную руку на лоб.

Долгое время мне казалось, — это последнее, что я запомнил.

В бессоннице не было ни будущего, ни прошлого. А если удавалось забыться, то все один и тот же повторяющийся сон прозрачным кошмаром нисходил, опускался, окутывал, вбирал меня — мое расслабленное сознание — в фантазмагорический мир свой, туда, в ту еще одну форму жизни, где уже не я являлся создателем, а надо мной стоял неведомый Господь, порицавший пороки сознания, каверны отравленного рассудка.

... Бесконечно, солнечными брызгами (это среди ночи!), сверкающим веером рассыпались осколки витринного стекла. Оливкового цвета „волга” (такси), покореженная, стояла в оконном проеме магазина на одном из проспектов Петроградской стороны (почему именно Петроградской, текст сна не уточнял), — впечатляюще покороженная машина красовалась в витрине среди товаров широкого потребления. А на асфальте, среди поблескивавших стекол и оливкового цвета брызг, осыпавшейся от удара, автомобильной эмали ненавязчиво скромно, словно ранняя брусника в молодой росной траве, краснели капли крови. Человека, удивительно знакомого (я готов был узнать посеревшее его лицо, только не мог сосредоточиться, собраться, сделать последнее усилие узнавания — ведь во сне!), — его вынимали, выковыривали из-под руля и на руках относили к санитарному автобусу. Момент появления автобуса я не мог установить. Каждый раз, каждую ночь я упускал этот момент. Но... — я точно помнил, как человека, извлеченного из кабины, грузили в распахнутые задние двери кремового фургона с полосой и знаками красного креста на борту. Голова пострадавшего беспомощно свисала: шея не держала ее. В кузов, на носилки его заталкивали ногами вперед. Похоже было, он больше не страдал.

В этом месте и на этой мысли сквозь сон каждый раз я

отворачивался. Каждый раз снова я вздрагивал. Даже запомнил момент, засек как бы в предошущении, так что в последующих снах, уже почти осознавая, сквозь предчувствие почти ждал, что вот, вот сейчас. Но вздрагивал.

Передо мной, прямо у ног моих (как я сразу не заметил! — ведь близко совсем, а вот, поди, ни разу сразу не заметил, всегда с подробным опозданием; пусть я и предчувствовал — всегда это оказывалось „вдруг”), — у ног моих среди осколков разгромленной витрины, откинувшись, лежала девушка в необычном, странного свободного покроя киноплатье: не то бальном, не то лесном. Над губами, еще теплевыми на нежно побледневшем овале лица, словно бы отлетающее дыхание, скользила виновато несмелая улыбка, меняя рисунок губ, — словно шепот. Еще одно „ДА”.

Я склонялся к остро запрокинутому ее подбородку (тут я наклонялся), тогда открывалась взгляду в безнадежной близости от виска чистая ранка, совсем небольшая, без крови. Я склонялся ниже — в незакрытых глазах ее еще сохранялось ночное тепло августа. Склоненный, я замирал, застывал будто в ожидании, будто знал: сейчас, мгновение спустя, она окончательно проснется, разбуженная прикосновением и собственной улыбкой. И первое утреннее слово ее будет в шепоте „ДА”. Но мгновение затягивалось. Нетерпеливо я сжимал ее голову руками, не в силах вынести молчание любимого лица. И тогда на лице, на щеке, там, где я прикоснулся, появлялись следы крови. Кровь была на моих руках.

Этого пункта до сегодняшней поры объяснить не умею. Может быть, перед тем я помогал извлекать из-под рулевой колонки человека в окровавленной куртке, может, пораился о разбросанные стекла (но порезов впоследствии не обнаружил), может, что-то еще. Эти причины, эти реалии мне до сих пор неизвестны. Кровь была на моих руках.

Наверное, позднее литературоведы смогут обосновать более достоверные причины — мистические. И напишут исследования о роли метафизических мотивировок в творчестве раннего. Им будет понятнее происхождение брызг алого, густого, пьянящего вина жизни на моих руках.

Происхождение следов крови на ее щеке было мне понятно — я их оставил. И, попытавшись стереть, оставил еще больше. И еще.

В потемнении рассудочном я склонялся к молчаливо любимому лицу опять и опять, не в силах выпустить бессильно и безвольно откинутую голову. И снова видел следы крови с моих рук, оставленные в распушенных ее волосах.

Не знаю, сколько это могло длиться, — мгновение замедлилось. Сухие слезы комом... Да, что там говорить!.. Но тут меня за плечо оторвали, — приподняв, отвели в сторону, плеснули в склянку рыжую жидкость, в голову ударил пряный запах. (Каждый раз просматривая и пересматривая этот свой сон, я пытался установить, что же это была за склянка, пока не понял: в руки мне всунули простой стакан и наполнили ромом так щедро, что ржавая, густо пахнувшая жидкость расплескалась через край.)

— Отхлебни, — услышал я голос над собой.

Когда возвратил пустой стакан, оглянулся. На асфальте, где только что лежала в короне растрепанных волос голова моей колдуньи, затылком на мостовой (матово-поблекшее лицо), теперь на сухом асфальте безмолвно взывал одинокий след окровавленной ладони.

Я оглянулся: еще кого-то запикивали в санитарный автобус. Рядом светились окна другого ярко-белого фургона. Окна были задернуты занавесками. Там мелькали склоненные тени. Я шагнул, но у дверцы меня остановила женщина в белом халате, оттолкнула твердой рукой. Санитарка. И я понял, что это штурмовая бригада „скорой помощи”, реанимационная машина. Напряженно гудели генераторы. В кабине шла операция.

Дальше изображение начинало дрожать, смещалось, как в неисправном проекторе: улица, — а в нашем равнинном городе улицы длинные, прямые, ровные, как на макете; обшарпанные дверцы и старые купеческие здания со шпилями и башенками, похожие на дворцы — изысканный чернильный прибор на письменном столе, — вдруг улица из-под меня ринулась куда-то в небо. Я карабкался в гору. Судорожно

хватался за стены зданий. Я должен был удержаться, чтобы... Потом ноги оторвались от земли.

Меня несли. Я не желал. Сопrotивлялся. Кричал...

И в крике вскакивал на постели с неожиданной единственной мыслью, что вот я здесь. И ночь. И я не там, где был только что... И слава Богу.

Далее, уже как бы успокоенный, с сознанием, что все происходит со мной не наяву, я осмеливался досмотреть свой сон. Но меня уже не впускали в покинутый мир. Я продолжал дремать. Однако единственный и постоянный мой многоповторявшийся сон не возвращался — по-видимому, было предназначено видеть мне его только раз в ночь. Но каждую ночь.

Наволочка и простыни стали моей волосяницей. Я беспокойно ворочался, бессильный полюбить бессонницу, как полюбил когда-то и принял отъединение и с тех пор более не чувствовал себя одиноким. Разве что иногда, изредка, вот в такие минуты по ночам. Но приходила дрема, бессонная, муторная. Хотя иногда (теперь я вспоминаю более явственно и отчетливо) посещали меня еще два видения:

... В предрассветном тумане из бесплотия я осторожно материализовывался в рамках, в границах хрупкого сна, когда дыхание замедленно и подобно водной глади. Я призрачно возникал в виду разведенных мостов у затаившейся реки. Бесплотный, но мучимый жаждой. Был пересохший рот. А также ноги развинченно запинаясь на булыжной дороге, уводившей вокруг Трубецкого бастиона, — спотыкаться я стал, как свернул с моста через Кронверкский канал на булыжник и медленно (так бывает только во сне) побрел к Неве. Зачем-то. Хотелось пить. А значит был уже не бесплотный дух, а некое страдающее тело.

Радужные полосы мазута на сонной глади разжигали жажду; вожделение — безумное желание владеть рекой. Впереди я видел, вглядываясь примечал, — нетвердой походкой влеклись к воде сутулые фигуры, один вид которых усталостью позвоночника говорил более о перипетиях ночной жизни города, чем о смазанной индивидуальности каждого. Впро-

чем, что тогда была индивидуальность. В предутренней дымке, с пересохшим ртом, с заплетавшимися ногами я, — скорее уже пародия на самого себя, чем я, — спасал лишь самую бrenную плоть. Спасением казался дальний берег, где с вневременным достоинством распространялось молчание дворцов. Над ними витал дух рухнувшей рухляди когда-то передовых идей и прогрессивных устремлений, — окаменелые останки гуманных предрассудков. Там вереницей повесились в утренних сумерках зеленые лампы фонарей. Но мосты не пускали.

На сонной глади лентами свивались радужные полосы и пятна. Венозная кровь города, отравленного собственного миазмами, стекала в море, спешила донести иным мирам, иным глубинам преимущество цивилизации — ускоренную гибель. Морские корабли ирреально медленно, стальными скалами в тумане, миновав, бесшумно скрывались за мостом вереницей. Еще напоминали о себе, уже далеко фонарями на ряях. В створе отвечали зеленые огни, отраженные колеблющимся зеркалом и бесконечно уносимые им, стремительно стремившимся в залив.

Весло рассекало струи, невидимые, но понимаемые и оттого не менее материальные, нежели булыжник под ногами. Утлая лодчонка (литературный штамп, а иначе не скажешь) приблизилась к берегу. Из нее на камни причала, предварительно уплатив перевозчику, выпрыгнули повеселевшие тени. Только что в лодке казались они жалкими. Фигуры, ковылявшие впереди, заторопились. И я поспешил за ними. Спотыкаясь, едва поспевал.

За пятьдесят копеек с носа — скромная такса, — веслом рассекая сонные струи, Харон-перевозчик, молча, ухмыляясь, спасал нас к дальнему берегу, к анфиладе дворцов, к усыпавшим совесть останкам гуманизма. Сонная гладь за кормой лодчонки расширялась. Молчал перевозчик. Харон ухмылялся: возврата не будет. Что я оставил на покинутом берегу?

Уходившая ночь нависала над бастионами фиолетовой тучей. Весло расплескивало ленивую воду. Руками я греб, по-

могая, омывая с ладоней следы засохшей крови. Фиолетовая ночь уходила, скрывая предвестие, угрозу над Петроградской стороной.

Сонная гладь, полоса, отделяла все более. Ширился рукав. Полноводна Нева — одна из наиболее полноводных рек Европы. Много воды. Слишком много для короткого сна. Для нескольких секунд забытья. У русских в толкованиях вода — беда.

Полноводнейшая река континента — для нескольких секунд дремоты, пожалуй, этого было много. Слишком много воды. А беды ее ведь не может быть слишком. Потому, сколько бы ни случилось несчастья, в самом несоразмерном горе надобно радоваться, что вот только и всего. Сколько бы чего ни произошло, всегда могло бы и еще больше случиться, а не случилось. Разве что сплошной полосой идет одно худо без добра.

Такой полосой непреодолимой расстилалась за кормой нельская гладь. Что это значить могло? Случилась беда или предстояла беда? В беде я не представлял, что она началась уже, продолжалась довольно давно. Жил я, захлебнутый ею, словно в пучине, словно в безумии страстного обладания рекой.

Перевозчик спасал невозвратно. Мосты не пустят — нет возвращения тому, кто пересек гладкую реку беды. Он изменен необратимо. Только практика прозы, этот мост через Лету, еще может связать бастионы, оставленные под сгустившимся небом, с берегом забвения...

Измученно ворочаясь на сбившейся простыне, душными ночами я не смыкал глаз. Но видел сны:

... пробуждение на потолке. Лежу. Брюки испачканы мелом. Люстра жестко свисала надо мной: я лежал на спине, запрокинув голову. Внизу (над глазами) матово поблескивал паркет небольшой пустынной комнаты, освещенной неярко вечерним мерцанием улицы, достигавшим стен комнаты сквозь неплотные шторы. Весело поблескивала хрустальными гранями не то ваза, не то пепельница на убогом и шатком столике красного дерева. Как раз подо мной.

„Ну и хряснусь сейчас!..” — хрипло метнулась сквозь пробуждение подлая нота испуга. То, что оказался я на потолке, очнулся в столь странном месте, выпал из забытья или спал там пьяный (судя по состоянию измученного жаждой рта вероятнее последнее), — обстоятельство, то есть мое местонахождение (все-таки потолок!), тогда меня нисколько не удивило: куда только не забираются по пьяному делу. Но то, что хряснусь, предстало реальной угрозой.

Что было силы спиной я прижался к плоскости потолка, словно хотел прилипнуть, приклеиться, удержаться на белеющей поверхности, простирившейся параллельно плоскости пола, матово-поблескивавшего паркета, там, внизу, метра три. А затем, собрав остатки мускульных возможностей, хищным броском, как испуганный зверюга, усилием непонятно из каких резервов взятой воли, я бросил себя на люстру. Я повис на ней, то есть попытался висеть. Но сорвался и... упал на потолок.

Долго я мучился, пытаюсь на люстровой штанге удержаться, свесив ноги к полу, — ноги мои почему-то не желали свисать. А то как бы хорошо, скользнув по этой самой штанге, я мог бы, сгруппировавшись, присев, припаркетиться на скользкий пол. Вниз ногами лететь, это не вниз головой. Тем более приземляться. В худшем случае задом, но... Ноги не желали опускаться вниз, проявляли непослушание.

Крепко держась рукой за негнувшуюся штангу (даже не качалась она), другой рукой я оттолкнулся от потолка, все же намереваясь занять положение, соответствовавшее закону Ньютона. Пусть с Эйнштейновой поправкой, но не столь уж значительна поправка, чтобы ноги мои так вели себя... „Экая дурость! — рассердился я. — Где это видано?!...” Стены вокруг, показалось, смеялись. Я вспотел от усилий. Отталкивался. И когда, намереваясь вытереть потный лоб напряженной рукой, оттолкнулся, что силы нашлось, оторвал ее от потолка, — упал лбом в... потолок.

Я стоял на голове. Упервшись лбом в потолок. Вверх ногами. Держался руками за люстру. Я понял: я запутался. Выходило, что мир, пока я здесь пьянствовал, как-то пере-

вернулся. Стены вокруг хохотали. Мне сделалось жутко. Тогда я обхватил штангу ногами и руками, вцепился и, перекрывая хохот стен, стоя на голове, заорал...

Такие были сны!

Сам себя разбудив криком, я маялся опять. Лежал на спине. Понимал, что не может никто помочь человеку, если все у него сложилось так необъяснимо. Даже не сформулируешь как.

Не последней была мысль о необходимости что-то менять в этой жизни. Надо встать над собой, просто взять и встать. Прямо сейчас. Но я чувствовал: словно бы чье-то колено давило, вминало в подушки. Горькое это знание, понимать свое бессилие. Замутнялся рассудок.

Я лежал на боку. Тогда, может быть, из-за неудобства позы — какая-нибудь складка матраца давила на желчный пузырь, — я слышал, чувствовал, как разливается раздражение, наполняя сознание, словно изжога желудок, жгучей болью, досадой: почему все прекрасно, но нет мне покоя? Так ли прекрасно? И прекрасно ли?

Сценарий приближался к завершению. Наконец, был окончен. После озерного приключения я вернулся домой на рассвете. Где-то пили мы все это время, подробностей я не упомянул. По-видимому, у каких-то людей, я знать их не знал, просто они оказались приятелями предыдущих биологов и Вити, в машине которого я уснул. В той машине увезли меня с озера... Вставали подробности. А мне поначалу казалось, не помню ничего, что случилось. Только сны не давали покоя.

Странные подробности пробуждали предчувствие.

„Ох уж эта фантазия, — думал я, — разыгралась! Не унять ее, требует выхода”.

Или сценарий меня так напряг, — переутомился я: легко сказать, столько переколошматить людей. Большевиков и контру — с этими ладно, там понятное дело, социальный конфликт. Но подростков?.. Легко сказать, легко подумать — но столько смертей и подробных мучений, допросы и даже расстрел написать обстоятельно, с деталями, — все в несколь-

ко дней. Легко ли? Однако я сделал это просто. Отоспавшись после загула, закончил сценарий единым духом. Так разбойник, раскrojивший затылок первой своей старушке, бьет вторую с натуральной и естественной простотой, удивляющей даже его самого — тоже своего рода профессионализм.

Сценарий для телевидения был готов. И пусть мутило меня — я купался в ванной, читал Кэнко-Хоси, к телефону не подходил, хандрил, — но одновременно испытывал облегчение, почти довольство. Разделался, наконец, и с рук долой. Если им не стыдно за это платить, мне не стыдно получать. Деньги нелишние. Пригодятся. Гульнем, проветримся. Девочку я себе какую завел, Марину! Только вот где она теперь была, не мог сказать. Странная все-таки: сиганула прямо с экрана. Я тоже хорош: выступил в самый момент. Но ничего. Характер у нее вроде покладистый.

„Ничего, — думал я, — еще пару дней похандрю, потом завалюсь неожиданно в гости: снег на голову. Засыплю комнату цветами. Простит”.

Август кончался. На рынках было много цветов. „На остаток аванса скуплю ей полрынка, и простит”. В таких случаях лучшее средство — гвоздики. Или розы. Гладиолусы тоже. А весной фиалки или первые ландыши. Обязательно первые — в них особая нежность, перед которой любая вина ничто.

Рассуждая, я лежал на спине. Только раздражение не утихло. Вот ведь, все нормально, можно сказать хорошо теперь — от всего ушел: разве легко столько детишек переколоматить, пьянку такую пережить, от обалденной девочки отвертеться, передать ее провидению на сохранение, чтобы не смущала совестливыми соблазнами, от необходимых дел не отчуждала. Работа моя одинокая, она требовала отъединения, тайны, даже жестокости. „Только, если жестокость и невинная слезинка, стоит ли тогда?..” — вспоминал я, простите, неточный эпиграф. Дальше рассуждать не решался. Напускал среди ночи ванну, окунался. Если все хорошо, то зачем рассуждать.

Вроде и было хорошо, ан нет. Что-то зудило, сидело во мне и точило. Свербило больное жало совести сна. Я не хотел вспоминать. Но я знал (что уж темнить!): к дому пришел я к утру со стороны реки, когда мосты были разведены. Как я смог перебраться с Петроградской? Разве что Харон?.. Но я не верил. Зло брало: что еще? может древние греки? — надо же так нализаться, чтобы в мифологию впасть. Что еще наплетет ночная фантазия.

Сны — только сны. Я читал „Крах психоанализа” Г. Уэллса. Что там Фрейд напридумал, не ко всем применимо. А я такой особенный — индивидуальность! — где уж ко мне ординарные тесты. Разве можно: ко мне, как ко всем?

Только не спал.

Тут я признаюсь: ходил к Марине, звонил, стучался. Дверь не отпирали. Думалось, наверное, на даче. Соседи на даче. Да и она сама. Кто же по доброй воле станет в такую погоду маяться в городе. Ведь говорила, что днями свободна, занята только вечером, да и то не всегда. Так что — на даче. Ждал. Купался в ванной по три раза на день и читал „Записки от скуки”. Не торопился в студию. Срок истекал струйкой песка. Мальчиков я перебил и рукопись отставил. Отмылся. Благо, хоть они мне не снились.

Снилось другое.

И вот, наконец, когда я собрался отнести продукт свой, вдруг понял, что несколько дней отдыха после окончания дела, когда уклонялся я от телефонных контактов, вымотали меня страшней, чем дни работы. Совершенно больной, ослабев, с головокружением и болью в висках, пыльными проспектами августа плелся я к дому на улице Чапыгина. Сомневался: что же я натворил, написал?

Предыдущей ночью, лежа ничком, понял я: не сойдет мне все это, аукнется обязательно — надо ждать. Я не боялся, но и не хотел расплаты. Все-таки прежде, многие, кого я любил, уважали меня, считали человеком естественным. А теперь? Вынужден был я творить противоестественные дела. Только вот, кем принужден, оставалось загадкой. Противно было, Автора — этого трусливого насильника над собой — я прези-

рал: подонок инкогнито. Но узнавались собственные черты, искаженные до отвратительной гримасы. Мерещились они, когда ночью я лежал ничком, незакрытыми глазами в подушку. Не в силах был спать. Или встать над собой. Или за- быться.

Лучше бы на набережной реки Карповки зарезал меня трамвай, пыльный, красный, с дребезжавшими стеклами. Я его не заметил. Но остановили трамвай. Говорят, люди есть, что и не горят, и не тонут, и не случается с ними ничего дурного, так они сами дурны и безобразны.

Лучше бы схоронил меня Алик-приятель. Так нет же. Сука такая, даже на похороны не пришел. Некогда ему. Конечно, я пойму, все так получилось, они с Надей куда-то там собирались, да и опять же — жара. Сам не пошел бы, тем более что на собственные. Неподходящая стояла погода — имперский, торжественный август, удивлявший своей царственной плотью. Представляю, как в гробу я бы провонял.

Умри я у дверей телецентра, стало бы это нарушением общественной нормы, — не оберешься упреков. Что же де- лать?

Не смог я войти. Добрые ангелы не впустили. Значит, было провидение и не допустило оно жуткой участи быть об- экраненным. Значит, все-таки был предназначен я для чего- то не столь низменного. Автор сделал меня настоящим писа- телем: пьющим, страдающим, с трещиной мира сквозь серд- це, мерзавцем, одиночкой, изгоем, ласковым псом, лижет который только нежную руку — все равно чью, лишь бы нежную. Но лижет он так, что забыть невозможно. Помнит, тоскует рука. Бедные те, кому руку лижет этот пес. Но тос- кует и пес.

Я возвращался домой, мучительно прикидывал: где до- быть денег, чтобы вернуть аванс телевидению. Вечером ис- текал срок подачи рукописи, установленный договором. Телефон надрывался. Я не брал трубку. Я думал: вряд ли теперь дадут мне заработать, обломил я им кейф. Но сорва- лась такая халтура! Ремешок затягивай — не поможет: зубы на полку. К кормушке теперь не подпустят. Где же денег

достать, чтобы жить? За то, что дышу, мне правительство не платит.

Можно было занять, у миллионера стрелкнуть пару тысяч — хватило бы на год. Но знал я его. Выпить с ним можно было всегда, только денег давать не любил, — просьбы раздражали. Сам дать мог очень много, если бы вызрело в нем решение, как орех. Но просить? Лучше было его не просить.

Один на один с телефоном я в тот день извелся. Монолог его не в силах был вынести. Надломилось во мне. Нелегкое это удовольствие переживать известие о собственной смерти. Поначалу фантастично и странно звучит, даже отрешенно, словно утренняя информация из газет. Но затем... Впрочем, полноте, — так ли уж фантазмагорично было известие? Разве жизнью можно было назвать то, чем жил я, и то, для чего жил.

Сны. Я в подробностях рассказал их, но связать не умел разрозненные обрывки. Так всегда, напридумавшись черт знает что, и торчат концы, — с формальной логикой я был не в ладах. От известия о собственной смерти связь была, уходила ко снам. Я чувствовал. Но не сходилось: потолок и река? Что общего? И откуда столько крови? На руках моих кровь! — приснилось? Все это могло значить: что-то родное я утратил, потерял. Что-то очень родное — много крови.

Я не помнил, как устроили гонку на пьяных машинах. Потом утверждали, будто сам я кричал: быстрее! обходи! Азарт заразителен, трезвым лучше не вмешиваться, не отговаривать. Ехала волшебная девочка не со мной. Ехала в чужой машине, в такси. Что-то случилось с машиной...

Сняли с витрины убитого мною Сережу. Я подначивал, когда „волгу” его обходили на проспекте, жестко прижимали к тротуару, места не оставили для поворота. Только витрину. Он въехал в магазин.

Напоили меня ромом, оторвав от Марины. Запах его хлороформный остался в сознании, сохранился даже во сне. Потом отвезли на квартиру к какому-то гаду, ублюдку, другу биологов, начальником называли его, — много комнат в квартире, как в гостинице, — я заблудился. А одна была

комната переустроена папой его (еще большим ублюдком): потолок на полу, пол на потолке, и остальное все в соответствии. Запускали туда очень пьяных гостей. В перевернутый мир развлекались нормально. Я проснулся и заорал — перевернутый мир! — на люстру карабкался и орал. Еще я не знал ничего, мир действительно был перевернут. Стены смеялись: были дырочки в стенах для наблюдения. Развлекались друзья.

Хмурый Харон, ухмыляясь, в утлой лодчонке перевез через Лету свору пьяных, опоздавших к мостам, вроде меня. И меня. И пока к берегу забвения хмурый перевозчик греб, над петропавловскими бастионами собиралась угроза...

Я все понял. Я накинул пиджак. Дверь не запер. Выбежал в август. Пыль садилась на листья. В душном воздухе видел я каждую пылинку. Август кончался. Я бежал. Цифры адреса вертелись в сознании. В дверь стучал, звонил.

Открыла соседка. Удивилась. Впустила. Оглядела меня. Я ее: женщина без лица и без возраста, с выжженными пергидролью волосами — вечная блондинка — в штопаном халате. Сказала:

— Нету Марины, схоронили ее, — уже с неделю, поди... Умерла.

„Как же!?! — кинулось в голову. — Почему? Опять сон? Очередной кошмар?“

Щипал себя за ногу, как наркоман.

Соседка мне наливала воды. Терпеливо ждала, пока я пил воду. Объясняла. Запомнил я кладбище, название аллеи, номер могилы. Номер могилы! Как странно... Как же так?

Марина-Марина... „Если ты хочешь?.. „Кто же теперь согласится послушно, кто ответит мне „ДА“?

Нет и нет. Не могла. Как же так!.. — думал я. — Ведь с экрана... Чертов Автор, слюнтяй непоследовательный, литератором мыслит себя, а кинодеву закопал в могилу.

Вспомнил я все его предыдущее чтиво. Полистал как-то на досуге: интересно, кто же это пишет тебя. Даже понравилось. Вроде бы смекал он не формально. Одно вытекало из другого. Многое он странно как-то видел, несколько не-

обычно, в придурковатом ракурсе. Сразу и не разгадать, к чему клонит.

Надежда тогда зародилась, как только я это подумал.

„Чертов слюняй, верни Марину... Я не могу, я отравлен. Вечное „ДА” мне необходимо, как тепло. Кто скажет в ночи только две буквы? Прошептать невозможно. Умела только Марина. Даже подонком назвала нежно, — никто бы не смог. Столько боли вложила в странные буквы „Д” и „А”. Я был пьян, а запомнил. Наверное, не так уж мало я запомнил, прикидываться все мы горазды.

И ты, пишущий хмырь! Эк, занесло тебя — функцию Бога присвоил, Создателя. В тройственном виде предстал: я, значит, Сын или, точнее, Пасынок, этакий Иисус, — можно меня и гвоздями, и матом, и как угодно; Автор — он как Бог-отец: горькую пьет, сочиняет меня и рассуждения, что в общем одно и то же; САМ же, как званием Духа Святого, прикрыл многоточием свое иудейское имя...

Верни девицу, самодовольная морда. Что же я делать буду теперь? Все зачем?.. Плюнул на халтуру. На многое. Лучше стал. А зачем? Кому нужно? Мне самому?.. А сам я нужен кому такой, теперь непригодный для обыденных дел?.. Лучше я стал. Да. Через страдания вышел, очистился, обтряхнулся, словно в прекрасных традициях. Устроилось как нельзя лучше — стыдно Солнцу в глаза заглянуть. Но разве не насмешка: стать человеком для того, чтобы не выжить. А теперь мне уже не выжить. Это ясно ребенку. У него способности к адаптации выше, чем теперь у меня. И с каждой минутой понимания их все меньше.

Номер могилы? Слово в театра абсурда: номер могилы. А как я буду могилы считать, ты подумал? Можешь это представить? Сам попробуй, писака. А если не можешь, то хотя бы подари мне сомнение... Я читал Г. Уэллса, а ты Фрейда читал. Теперь по всем правилам ординарной методики мои комплексы раскладываешь. Живого разлагаешь. Ведь живой я!!! Сам ты меня оживил, душу дал, прошлое и надежду. Разве душу можно фрейдовым скальпелем трогать. Больно!..”

— Больно! — Кричал я ему.

Тут же подумал: „А мои пионеры? Без всякого психоанализа я их запросто... Как же я мог. В застенках-то, а?“

Но опять: своя боль заглушала.

Дай сомнение, ведь не могла кинодева умереть, не из плоти она. Я ранку запомнил — не было крови. (Впрочем, как же я любил ее там, на траве под деревьями, если бесплотна она?) Что же истина? Что же ты здесь понапутал? Признавайся!.. Ведь я раскопаю могилу — я свое возьму или сам туда лягу: зачем теперь мне остальное. Весь мир — всего лишь остальное без нее. Я сам его обещал для себя, этот мир. Сам превратил неторопливо и последовательно, неотвратно и бездумно в жуткую лажу. Впрочем, что теперь копыа ломать... Ты скажи: как же кино? Как фильм без нее будут показывать? Кто улыбнется с экрана?

Дай мне сомнение?

— ЧТО Ж, СОМНЕВАЙСЯ, — прогремел надо мной тихий голос.

— А время?... Время? — я захрипел, нисколько не удивившись, — время дай... День уже кончается, — план у меня есть, его породило сомнение. Но, чтобы исполнить, день нужен мне. А день на исходе. Ночь не переживу.

— ЧТО Ж, — улыбнулись облака, — СОЛНЦЕ ПРИДЕРЖИМ. ПОПРОБУЙ.

В грохоте городского оркестра я спустился по лестнице сумрачного подъезда, беспamięтно шагнул в желтевший про-свет двери и оказался заключенным в мир мелькавших лиц и толкавшихся тел, в мир трамвайного звона и захлебного зуда будильников, ревуших автомобилей и фановых труб, отпетого ритма колес. Клуб торжествующей суеты оплетал меня, словно паутиной, невидимо липко охватившей лицо. Невидимой сетью натянулись нити привязанностей — к друзьям, к вещам. Болью отозвались нервы дружб, забытых любовей, надежд: „Не отпустим!..” Но за болью, я знал, предвидел, таилась трусливая ирония этого мира. И я угадал расчет в его искренности: он подменял меня мной.

Мы все заключены в историю. Влипли в историю. Так получилось. Но если говорить об истории как о точной науке, то нравственный смысл ее состоит в непрекращающемся расследовании по делу о преступлении Человеческого Общества перед Человеком. И, кто знает, может быть, именно вследствие неостановимых разоблачений какая-то часть этого общества, этого мира уже не может существовать по-прежнему. Знание необратимо меняет структуру. Существовать по-прежнему становится невозможно, потому что само преступление не может быть безнравственным или нравственным — оно вне категории нравственного. Безнравственно лишь оправдание преступления.

И я еще был частью, невзрачной частицей этого общества, этого мира. Но частью себя я уже не был частицей, а был этим миром, осознавшим разоблачение свое. Мир во вне меня; частицей которого я был, еще пытался спасти меня, отговорить, удержать. Он сразу почуял недоброе в затее. Но мир, разраставшийся в той части меня, что сделалась уже сама всеобъемлющим миром, ложное спасение отвергал.

Я бежал по проспекту, не отвечая на приветствия знако-

мых. Я больше не был должен ни телевидению, ни родственникам, ни друзьям. За последние пять тысяч лет в сущности ничего не переменялось — вот, что я понял. Да, меняется лишь человек в своей мгновенной (на фоне тысячелетий) жизни. Осознав это, я постарел на много тысяч лет и теперь по возрастному цензу не мог состоять ни в какой общественной организации, ни на какой государственной службе.

Если бы мир этот просто окутал меня теплой пеленкой дождя, чтобы я смог согреться в ласковых струях, услышать в шорохе капель на песке прежнее „ДА”, чтобы смог заплакать нестыдно и славно на полный всхлип и выпустить тесное горе на простор, — тогда я вытер бы слезы и различил резкость вновь зазеленевшей травы, прозрачность воздуха, звенящего пением освобожденных из клеток птиц, цветущего смехом детей, над которыми более не тяготела бы подлость кем-то осознанной необходимости. Может быть, тогда я и замедлил бы свой бег, — Автор замедлил бы бег пера на бумаге, а Некто Невидимый, но явно руководящий в нашем триединстве, Он замедлил бы бег своей мысли, задумался. Может быть, тогда Он создал бы иной мир. Он организовал бы его по закону теплого дождя: там цвели бы на клумбах глав необыкновенные розы-фонемы, роскошно ветвились бы невиданные синтагмы, волшебные ковры-эскалаторы сюжетов завлекали бы читателя в заросли неожиданностей, где ему открылись бы впечатляющие картины, изнанки банальностей. А сам читатель не смог бы книжку выпустить из рук: читал бы бесконечно, пока не погиб от сладостных мучений, как та американская крыса, которой вживили в мозг электроды, и она не смогла уйти, убежать от источника наслаждений в противоположный угол, где стояло блюдо с едой, — так и умерла от голода.

Но в мире людей понятие искренности так несовершенно даже в сравнении с крысией, что, увы, читателю участь такая не грозит. Да и не может быть иначе в мире, который не пролился единственно спасительным дождем.

Мир оказался сухим и пыльным. Он оказался чужим. Я был один на залитых солнцем тротуарах, где давно мальчиш-

ки не чертят „классики”, потому что дети, их игры и смех — то первичное, настоящее, что сразу смывается начисто суетной толпой, не знающей ничего постоянного, кроме суеты, и потому бессмысленно, равнодушно благоденствующей. А я брел один.

Не каждый раз удается обрести себя, обрести уже в который раз потерянного себя. К этому, наверное, невозможно привыкнуть. Об этом можно знать или догадываться. Но когда состояние наваливается иходишь в него, — невозможно хранить философскую уверенность, что все пройдет.

В потоке лиц и теней по солнечной стороне я брел, тронутый странно детской обидой и болью (как же могилы считать?). Сомнения и надежды, как приспущенные флаги, колыхались надо мной.

Солнечный ветер августа шевелил волосы. В летнем воздухе, пыльном и густом, витали солнечные удары и стрелы амуров. В шевелении пятен света сквозь листву на песчаных дорожках, в смещении теней растворялась уверенность. Имперские флюиды заражали ожиданием перемен.

Я брел сквозь свою большую перемену (мне ее никогда не перейти). А вокруг ожидали перемены судьбы, каприза погоды, потепления политики, изменения цен, смены правил и расписания автобусов. Никто не знал зачем, но ждали. Так безнадежно больные ждут выздоровления.

Я знал: люди ждали, что воздух станет чище, исправится настроение, и уже ничто его не омрачит; они ждали встречи, не зная зачем, проходили мимо и снова ждали; они притворялись, что не ждут ничего, и ждали признания своего притворства. Солнечный ветер, невидимки флюиды отравляли их.

Я не ждал ничего: просто знал — в летнем воздухе белая пыль героя. И спасение только тем, кто не дышит. Они уже на деле проверили пропаганду весны в этом безнадежно летнем мире. Кажется, что он летит куда-то. И захватывает дыхание. Захлестывает темп. А на самом деле, пущенный однажды, он просто несется по кругу, вращаясь как балаганная карусель. И, ничего не подозревая, мы все сильнее

раскручиваем его, закрываем глаза и продолжаем раскручивать, чтобы однажды балаган этот рухнул и нас всех швырнул в пустоту.

Так думал я в тот момент на бегу. В тот момент я бежал. Если мыслями позволено будет назвать сумбур перекошенных образов, что с калейдоскопической быстротой и неповторимостью чередовались в бедной моей голове, подменяя одну разорванную мысль другой. Но мир вокруг, он никуда не падал. Несся один лишь я сквозь неторопливую очевидность.

Теперь, как бы в ретроспекции, я вспоминаю тот день и изумрудное спокойствие природы: над желтой водой дым заката, за тучей синее солнце наклонило напряженный склон горизонта, по пыльной дороге к кладбищу проехал, обгоняя меня, припадая на спущенное колесо, хромой автомобиль, — за деревьями долго качался в тишине астматический всхлип мотора.

Если мир во мне был подобен рушащейся карусели, то мир вокруг — он оставался мудрым, безучастным. Он много чего повидал, достаточно натерпелся, но сохранил способность не подавать виду, никогда и ни при каких обстоятельствах он не изменял этой спасительной способности. Но она угадывалась в нем, и оттого, может быть, еще невыносимей становилась боль. Боль была помножена на красоту и мужество. Неизлечима. Так нет лекарства от северного ветра. И сама собой напрашивалась мысль, что, может быть, и любви нет, а просто бывает невыносимо одиноко.

Теперь я уже не знал, как примирить недавние свои рассуждения о благоденствии отчужденности, о блаженных отменях солнечного одиночества с теперешней подлинностью одиноких переживаний. Так необратимо был я изменен. А минуло каких-нибудь восемьдесят страниц, всего-то. Катастрофическая стремительность процесса не оставляла возможности хоть в чем-то трезво разобраться. Пьянила боль. Душа, раскрытая проросшим изнутри семечком страсти и рассудка (пагубное сочетание), вышеозначенной болью

вскармливала новый, все более разрастающийся образ мира. Уже сам образ этот становился миром. И душа все более отъединялась от действительного порядка, окружавшего брентную оболочку. Потому-то бунт мой на самом деле, по сути, — он не был бунтом. Всего лишь всплеск. Слова. Истерика стилиста. Ведь философия и творчество частное дело каждого. Само по себе представление, что философия способна что-то переменить, дать какой-то ответ — оно мнимое. С философии достаточно и того, что она ставит вопросы. Решает лишь судьба человеческая. Поступок — вот что нарушает мнимую гармонию баранов. Я был готов к поступку. Мне предстояло поступить. Вмешаться. Сдерживала лишь мысль: но что, если Господь (Автор, Дух Инкогнито), создав наш мир, забросил его, предоставив человеку (персонажу) корчиться в хаосе цивилизации (по законам жанра), — тогда не будет ли попытка навести порядок в том хаосе, вмешаться, встать на пути провидения (и линии развития сюжета), — не будет ли она противоречить воле Господней?

Зеленая тень фикуса лежала на розовой стене коридора. Я пристально рассматривал шероховатую поверхность в пупырышках, выковыривал из-под краски, потерянные кистью волосы.

От линолеума на полу пахло лизолем — в больнице опасались эпидемии.

Главный врач был занят оформлением справок. Смертность в городе увеличилась из-за жары.

Под окном, на постриженной траве газона гуляли больные в линялых халатах, в застиранных пижамах. Мужчины поглядывали на ограду, на проходивших по переулку девушек. Женщины, удрученные духотой, неприбранные, жались под кустами в пыльной тени.

Молодая медсестра в докторском колпаке, в легких бо-соножках на пробке дважды мелькнула в коридоре и дважды, оглядев меня, издали усмехнулась. Но в третий раз что-то поняла, заметила, замедлила шаги, застегнула пуговку.

— Кто у вас?

— Мне бы справку...

— Фамилия?

Растерянно я молчал, фамилия была мне неизвестна.

— Автомобильная катастрофа? — переспросила она. — А какого числа? Вы точно помните?

Она отворила дверь в кабинет:

— Я сейчас.

И через недолгое время:

— Заходите.

Медсестра выпорхнула. Я вошел.

Врач, загорелая блондинка в очках, сидела за столом, заполняя собой емкость впечатляющего размера кресла.

В толстой конторской книге она разыскала нужную запись. Положила перед собой раскрытый журнал расхода человеческого материала. Подняла глаза.

— Сейчас сестра вернется, сделает выписку. Подождете?

— Нет, спасибо, — хрипло ответил я, — выписку не нужно.

Ее голубые глаза кругло удивились.

— Скажите, доктор, из-за чего она умерла?

Врач еще раз взглянула на запись.

— Проникающее ранение... автомобильная катастрофа, кажется, — и добавила. — Я помню этот случай. Очень красивая девушка... По-моему, даже вскрытия не потребовалось — картина очевидная.

Недолго мы помолчали.

— Это мучительная смерть, доктор? — наконец, выдал я.

— Кто она вам? — врач опустила веки (что видела она, смежив ресницы, выбирала из множества виденного сходный случай?), — приятно, что вы спокойны, — сказала низким голосом блондинка. — Держите себя в руках. А то здесь на такие сцены насмотреться — тошно.

— Бесчувственность, называется, — уточнил я.

— Бросьте. Все только слова. Зачем?.. Она не приходила в себя.

Мне были странны слова, что я произносил. Они были

легковесны, — всего лишь оболочки смысла. Я не находил смысл.

— Вы уверены, что она умерла?

Врач вздрогнула, потом нервно рассмеялась. Опять потянулась к конторской книге.

— Вы действительно уверены в... в этом?

— Здесь записано... — она попыталась открыть книгу.

Резким движением я успел предупредить понятный жест, захлопнул журнал у нее в руках.

— Оставьте. Она не могла. Я не видел.

Блондинка рассматривала меня долго и внимательно. Ее глаза из голубых сделались серыми и холодно следили из-под прищура.

— Настаиваете на повторном вскрытии?

— Ее смерть невозможна.

— Хотите заставить нас в такую погоду? — переспросила она, еще более раздражаясь.

— В гробу ее нет! Ее нет на кладбище! Она не могла умереть. Вы сами не уверены, что она умерла. Говорите, что видели, а заглядываете в книгу. Вы помните ее лицо — разве это смерть? Вы врач и вы не уверены... Что мне ваша книга! Моего имени в ней не отыскать, а разве я живу!.. Она не могла. Закопали пустой гроб.

Мне наливали воду. Медсестра гладила по голове. Пахло валерианой. Какого черта!

— У вас переутомление. Надо отдохнуть. Хотите, Валюшка сделает успокоительный укол, и вы поспите?

Медсестра повернулась на легких ногах и послушно зазвенела инструментарием.

— Нет. Спасибо... Нет, этого вовсе не нужно, — я рассмеялся нечаянно и произвел еще худшее впечатление. — Меня тоже вот схоронили, даже позабыть успели. А я — вот он, теплый... И она не могла. Ведь кино, кино-то идет каждый вечер. Без нее?

— Вы заговариваетесь. Прилягте.

Я поднялся, пошатываясь. Никто не знал, как хотелось мне лечь под укол. Раз ширнуться и долго не вставать. Не

просыпаться. Совсем. Но я мог не успеть. Я боялся опоздать. Солнце падало, подминало горизонт. Я встал.

— Простите, доктор. Укол нельзя... В следующий раз. Обещаю.

— Пойдите, — встрепелась блондинка, с неожиданной для своего объема грацией приподнялась. — Куда же вы?

— Прощайте, я спешу. Надо еще успеть. Сегодня мне нельзя опаздывать.

— Опаздывать! Но куда? В таком состоянии я не отпущу вас.

— Куда-куда!.. На кладбище.

Беленый погост с буро-зелеными кривыми и разнокалиберными маковками куполов притулился за оградой напротив дома кладбищенской конторы. Чисто выметенная площадка перед воротами была уставлена брусками и обломками гранита, плитами прессованного мрамора. Сахарно белели сколотые углы на полированных гранях. У ближайших могил, возле склепов под проржавевшими крышами, игрушечно поблескивал стеклом и никелем конный траурный катафалк. На скамье у церковной ограды, расстегнув воротники летних рубаш, сидели два милиционера. Рядом, в тени, свесив язык из слюнявой пасти, лежала толстолапая овчарка.

Заведующего в кабинете не оказалось. Но дверь не была заперта.

Я заглянул, постоял на пороге, прикрыл створку плотнее и уселся на белый стул в приемной. На противоположной стене под стеклом и в рамке висело свеженькое постановление о прекращении захоронений на кладбище. Мест не хватало — аншлаги.

Певучий баритон в дуэте с бледным голосом болезненной женщины-бухгалтера (с ней я успел переговорить), мягкие, ласково отданные приказания рабочим и тяжелые шаги на крыльце заставили обернуться. В приемную вошел человек, невысокий, но плотный и крепкий, как июльский гриб-боровик, в холщевых брюках, в сандалиях на босу ногу, в коричневой рубашке, загорелый, с цыганским лицом: при-

пухлые губы, брови, густо сведенные тетивой над голубыми блюдцами глаз, развитая челюсть с мягким подбородком. Он шагнул через порог прямо за стол своего кабинета, одновременно жестом и приглашая выющиеся каштановые волосы, и приглашая зайти.

— Вы разве не знаете, что на кладбище захоронение прекращено?

— Вот я и хочу освободить вам место, — насколько мог бодренько начал я, но получилось кисло, и я понял — проигрываю диалог.

— Это как? — отвесил ласковую челюсть заведующий.

— Могилу надо вскрыть, — я протянул листок с заявлением. — Валерианская дорожка, номер...

— Вы это... оттуда? — не глядя в листок переспросил он. — Расследуете? — но отметил недоумение в моем облике и догадался иначе. — Из больницы, повторное вскрытие?

— Нет.

— Ага, значит частное дело. Перезахоронение?

— Ну, вроде того, — уступил я.

— Разрешение исполкома есть?

Об исполкоме я и не подумал. И он понял это сразу.

— Родственник?

— Пока еще не родственник.

— Что?.. Как это пока?

— А вот так! — рассердился я на собственную бестолковость, эх ведь выставят меня сейчас ни с чем, и не так вовсе надо с ним говорить. — Надо мне, понимаешь, — перешел я на „ты” с резкостью, в тот момент понятной обоим. — Надо.

— Нельзя быть рабом воли умерших, — тихо ответил он.

— Это моя воля.

— Тем более.

— Ф-философ-фствуешь... — медленно закипел я.

— Окончил в свое время, — насмешливо хмыкнул заведующий. — Философский факультет окончил, кафедру истории философии, — он повернулся к окну. — Ты вот что, ты взгляни. Что университет, разве там чему научат? В окно взгляни: наводит на размышления?

Крашенные ограды, могилы под деревьями, цветы, выросшие на жирной почве кусты и чащобы крестов — сколько видел глаз, тянулся вдоль аллеи частокол напоминаний. Кресты мраморные, гранитные, чугунные, стальные, деревянные, цементные; литые, сварные, сколоченные, склеенные, вырубленные; с фотографиями, с надписями, с именами и датами, с табличками, с изречениями, с титулами и званиями вокруг славных имен и безымянные — пейзаж.

— Она не умерла, не могла умереть... — затянул я свое.

— На похороны не успел, взглянуть хочешь?

— Да, — ухватился я за соломинку.

— Зря. Лучше не видеть.

— В глазах стоит...

— Ну, а разрешение исполкома?

Я приподнялся со стула и почувствовал, как хрустнули деньги в тугом бумажнике оттопыренного заднего кармана.

— Надо пойти к могиле. На месте виднее. Прошу вас.

— Смысл?

— Необходимо договориться, поймите.

— Что уж тут понимать, — сказал заведующий. — Нечего и понимать, — надбровная тетива напряглась. — У соседей сейчас неприятности, вокруг сплошные ревизии. Боюсь... Так что не вздумай предлагать. Лучше сразу выбрось из головы.

Взглядом он проследил выстрел. Я почувствовал синий укол. Улыбнулся. Невеселая это улыбка, если нечего сказать.

Заведующий встал, подошел к окну, просунул крупную голову в квадратную форточку.

— Михалыч!

Из сарая выехал на дамском велосипеде седой, горбоносый старик с красным лицом.

— С вашим делом ясно, — перешел он на „вы” с едва уловимым усилием, словно поезд на стрелке. — Мне сейчас некогда, а Михалыч вас отведет, посмотрите могилку... Дело ваше зряшное, пустое.

Мы вышли на крыльцо.

Михалыч слез с потертого седла и стоял, потупив глаза, икая и пошатываясь.

— Тебе что, аль не хорошо, Михалыч? Пойди, умой лицо холодненькой.

Напевное „а” сквозило в ласковом голосе философа-заведующего.

— Михалыч, съезди с товарищем на Валерианскую дорожку, помоги могилку отыскать. Раскопать он просит, да разрешения нет. Пустое дело. Но ты покажи... Рубашку-то заправь. Посмотри, что там. Да не упади, смотри, с велосипеда. Вы уж придерживайте его.

Он обволок меня голубым взглядом. Вздохнул.

— Ох, не выйдет у вас, упрямый человек.

Мимо церквушки, прокуренной ладаном, мимо милиционеров с собакой, вдоль ряда полуразрушенных склепов за дребезжавшим велосипедом Михалыча я плелся, визжала и соскакивала ржавая цепь. Оторвавшись на полсотни метров, он дожидался меня. Вместе мы натягивали негнувшиеся звенья на шестеренки. Дед делал очередной рывок.

Продвигаясь вдоль уложенной тонкой трубы летнего водопровода, мы пересекали зеленый некрополь.

Неожиданно Михалыч свернул. Поспевая за ним, я успел прочитать на синей эмалированной табличке „Валерианская д.". Я никогда здесь не был, и места, разумеется, не знал. Но торопливо обошел старика, остановившегося хлебнуть воды из крана. Я не вглядывался в трудно-разборчивые надписи. Номер могилы? Где уж тут было могилы считать. Но вскоре я оказался в неглубоком тупичке — метров полтора от Валерианской дорожки. Свежая могила была с самого края. Одна.

Цементная стела без надписи на чистом поле таблички ко-со высилась над невысоким бугром рыхлой, подсыхавшей земли. Несколько мертвых цветков у подножия. Рядом, в траве ржавела забытая лопата.

— Эта? — сказал Михалыч, не слезая с велосипеда. — Договариваться не будем: место открытое, издаля увидят... Так что я несогласный, слышь, копать.

— Михалыч!

Прислонившись к осине спиной и не слезая с велосипеда, он размахивал руками, кричал надтреснуто, как скворец.

— Несогласный! Несогласный!

— Михалыч!..

Увещевания не действовали. Старик оттолкнулся от дерева и, объезжая просителя по кругу, повернул к выходу из тупика. Не думая, я протянул руку, ухватил велосипед за багажник и вытряхнул деда из седла.

— С ума сошел, спятил, да! Насилие? Я милицию сейчас, мили...

Но тут он осекся.

Ни левая рука, державшая ржавого коня, ни голова моя не ведали, что творила правая рука. Хрустнули в пальцах пачкой червонцы. Красненькие и ломкие, они раскрылись на ладони.

Старик попятился, закрываясь велосипедом.

— Убери... Слышь! Нет, нельзя... Убери.

— Щуп неси.

— Вам законы нипочем, богатым.

Губы у него и у меня дрожали.

— Как бы мне бедным с твоих денег не стать.

— Возьми, тогда и сравним, кто богаче.

— Последнее отдаешь?

— Здесь триста. Завтра принесу еще столько... А если надо, еще столько же... Бери. Все отдаю... Бери.

„Машинка импортная, — считал я, — диктофон, антикварные книги, американские джинсы — это можно сходу реализовать. Как раз хватит”.

Но Михалыч отдышался.

— Нет, парень. Не пойдет.

— Тысячу хочешь?

Михалыч презрительно сплюнул себе на ботинок.

— Посмотри кругом, дурья башка. Ты посмотри. Думаешь, залил старик глаза, не видит? Неужто за тысячу за твою поганую я от всего этого, от красоты всей, от сладости жизни откажусь? От всего, от всего: от вина, от сол-

нышка, от вольного воздуха... Тыща!.. Да хоть миллион! В бок тебе твой миллион.

— Зачем же, зачем отказываться, ты мне просто помоги, — испугался я. — Зачем это отказываться от всего? — Но Михалыч не слышал меня.

— Ведь я какой есть сейчас? Я есть свободный!.. Думаешь, свобода — это права, законы, дозволения? Враки. Какая уж тут свобода, ежели дозволения. И права твои — они все есть одни дозволения. Не более. То тебе дозволено, а этого уже не касайся... Свобода, парень, — это когда лишнего ничего, и не хочешь ничего лишнего. Вот это свобода.

— Миха-алыч?.. — протянул я.

— Да ты никак глухой, парень! Есть в тебе душа? Ты глянь: золотые шары над профессорской могилкой качаются — будто солнышки. Жил профессор, некогда ему было глядеть, а теперь: золотые шары. И листья. Август, вон они какие сочные, мясистые — сила! Ты гляди, гляди. Не глазами гляди, нутром... Можешь теперь старику предлагать, можешь его в могилу совать до срока? Молчишь? Ты не молчи, ты ответствуй.

Золотые шары пумпонами тяжело раскачивались на высоких стеблях. Звенели пчелы. Бабочка перепархивала мое плечо. Михалыч сидел на траве, потупившись одним глазом, вторым, красным и воспаленным, протыкал меня.

— Сейчас что, сейчас я хоть каждый день выпить могу, хоть на последний рубль, хоть на одолженный. Как захочу, так и вышью. А там... — Михалыч горько махнул рукой. — В лагерях не согреешься и на солнышке... Старый я. Не выйди мне, если что.

Я убрал деньги в кожаный бумажник, опустил на кочку рядом. Пот струился за воротник. Не было платка.

— День длинный, — мирно сказал Михалыч. — Не кончается все.

— Не может он, — тихо ответил я. — Пока не раскопаем, все будет день.

Старик покосился с недоверием.

— Чудной ты, право дело. Может, псих?

— Станешь и психом.

Дед молчал, медленно успокаивался. Его розовое, влажное от пота лицо побледнело, и болезненно заострился нос. Глаза, чуть навывкате, в сетке воспаленных прожилок блестели малиново, как у кролика, беспокойно дергались, раскачивались в разные стороны.

— Сигарету дай?

— Не курю.

— Хороший ты, видать, парень. Не вводи меня в грех. Слаб я. И на волоске висю, — Михалыч оглянулся, утер узловатым кулаком слюну: ему хотелось курить. — Следят.

— Кто? Кому ты нужен, Михалыч?

— Чую! Веришь ли, нутром чую. Убежден... Ночью проснусь — как мышь весь мокрый, успокоиться не могу, будто кто глазами по мне елозит... На соседском кладбище перетрубация была: обехаэса всех позабирала. Докопались, видать, — он помолчал. — Да разве здесь докопаешься. Донес кто-то... Виктор, заведующий, он много знает.

— Может, он?

— Может. Он может. Непростой человек, скользковатый. Все ласкает, а боятся его. Ему родственника туда пристроить надобно было... А, может, и не он. Пустое это дело, гадать. Эх, курева у тебя нет... Пошарь по карманам, чего найдешь?

— Да не курю я.

Демонстративно я пошарил в карманах брюк и неожиданно под ключами от квартиры пальцы нащупали упаковку в целлофане. Мистика? Смущаясь, я извлек из кармана початую голубенькую пачку сигарет.

— Заграничные? — поинтересовался Михалыч, разглядывая необычную этикетку. — Кубинские?

— Французские... „Голуаз"... Бери всю.

— А тебе?

— Да не курю я... Она курила.

Михалыч оглянулся на могилу.

— Жена?

— Как тебе сказать...

— Оставь на память, — он протянул пачку, возвращая.

— Ладно, — отмахнулся я. — Снявши голову, по волосам не плачут.

Мы сидели под осиной. Остатками шелушащегося никеля поблескивал на солнце велосипед. Михалыч курил, разглядывал яркую этикетку.

— Неважнецкие сигареты.

— Слепые не прозревают, Михалыч. Покойника не воскресить. Не бывает чудес, вот беда.

— Все одно.

— Не знаю.

— Али сомнение имеешь?

— Не знаю... Дурной разговор.

— Так ведь сам заоткровенничал.

— Извини.

— Это ничего, — сказал протрезвевший дед. — Это хорошо. Случайному человеку не жалко. Себя жалко.

— Сомнения не облегчают, ох не облегчают.

— В душе не держи. Что таиться, жалеть! Неприятностей в жизни вон сколько, наживешься еще.

— Нет, Михалыч. Не будет, не предвидется у меня „еще“.

— Да ты что, парень! Что говоришь. Опомнись, в девке что ли дело?.. Велика печаль, да не больше жизни. Ты опомнись.

— Опомнился я.

— Ну ты и чудной! Как это не будет, — не мог успокоиться он. — Будет, парень, все еще будет... Ты вот что, ты погоди.

В контору мы возвращались молча, отчужденные сговором. Договоренность была достигнута, и мы стремились расстаться до решительного часа. Но формальность требовала: вместе дойти, высказать заключение.

Собаки у церкви не было. Единственный милиционер, сняв рубашку, мылся у чугунной водоразборной колонки.

— Не заподозрят чего? — я кивнул на фуражку, висевшую на ветке куста.

— Не их дело. Охрана.

Заведующий встречал на крыльце. Он не щурил глаза, не подозревал, не усмехался с ноткой понимания в улыбке,

— ничего такого не было в его лице. Оно отражало спокойствие и было по-восточному непроницаемо, как светло-коричневые клетки на его рубашке.

— Приведем могилку в надлежащий вид, как договорились. Пусть товарищ по квитанции все оплатит, — забормотал Михалыч какую-то чушь для отвода. — Условие позволяет.

Старик увел велосипед в сарай. Виктор-заведующий повернулся и ушел за дверь. Я шагнул за ним.

— Будете ждать, пока стемнеет? — оглянулся он.

Я остановился в дверях, от неожиданности запнувшись обеими ногами за порог.

— Сколько вы дали? — спросил он, лицо его по-прежнему казалось безразличным, но я угадал в нем тоску. — Сколько?

— Пачку сигарет.

Черные дела — дела ночные. И Фолкнер и Эдгар По решились раскапывать могилы лишь глубокой ночью. Тайно, при свете факелов и фонарей, под покровом крошечной тьмы. Но что оставалось мне делать, если небеса „придержали“ солнце. Чугунной тяжестью расплава, остывая, медленно оно давило горизонт. Купалось в усталых облаках, пытавшихся закрыть его. Им это удавалось почти: все-таки оно еще светило.

В духоте, в тишине, усиленной малиновым звоном насекомых, обрывками иной, странной и противозаконной жизни казались сбивающееся дыхание Михалыча и свист-скрежет ржавого щупа. Сталь мягко уходила в податливую землю. Светлый пот блестел на отчаянно красном лице старика.

— Не подходи, я сказал. Оглянись кругом... Ох, парень, не жаль тебе деда: на что толкаешь!.. Ох, молчи. Смотри на дорожку, не идет ли кто?

Несколько раз я пытался взять лопату, но Михалыч гнал прочь, ругался, шипел змеиным присвистом. Он поставил меня сторожить. Я должен был следить за дорожкой и не мог помочь, не мог ускорить рытье.

Теперь, когда близко мы были у цели, я почти не сомневался. Я точно знал, что будет, когда приоткроем гроб и, протиснув в плотную щель топор, со скрипом сорвем уже начавшие ржаветь гвозди.

Я был уверен. Однако я не мог объяснить причину той уверенности. Не ведал, откуда она снисходила. Что за природа была у силы, подвигнувшей меня на противоестественное это предприятие.

Я почти не сомневался. Но — почти.

Где было взять мне сто процентов уверенности? Тем более, ста с лишним, с тем самым лишним, что так необходимы для успеха всякого предприятия, когда это самое „поч-

ти”, способное разрушить любое, даже самое верное начинание, — словно ржавчина на металле, эрозия живых клеток, песок, попавший в смазку шестерен, — проклятое „почти”, оно нередко ставит под угрозу успех значительного дела. А сколько малых дел гибнет, замирает, не способно превозмочь „почти”.

Каким кошмаром могло предстать это „почти” под приоткрытой крышкой гроба, и несомненно бы предстало, когда бы я не находился в ином измерении, в иной реальности, являвшейся единственной, особой в своем роде формой жизни, где сутью был язык. Я был подвержен лишь ее законам. Я уже начинал догадываться о них, понимать, предчувствовать надвигавшееся, — знал слишком много. Само время было меня убивать. И где-то здесь, в начале восьмой главы, Автору надлежало обдумать это обстоятельство, взвесить, и, верно рассчитав, в холодном кипении занести над бедною моей головой перо...

Скрипела за спиной лопата. Сыпался песок. Сбивалось натужное дыхание гробокопателя.

Солнце остывало у горизонта, и черные деревья все плотней обступали нас. Все мрачней придвигалась стена надгробий и крестов. Казалось, вот он, эффектный конец: здесь, у могилы загубленной кинолюбви, задавлен будет бедолага герой, раскаявшийся слишком поздно. Он должен быть растоптан надгробиями и сброшен рукой справедливости в разверстую могилу. И так оно было бы, наверное, если бы Автору справедливость не представлялась предрассудком. Наверное, потому старый Михалыч все продолжал выбрасывать из ямы жирные комья богатой кладбищенской земли. Он уже докопался до песочка. А надгробия все не могли окончательно слиться в сплошную стену.

Кроме того, это слишком красивый конец, слишком простой в своей традиции — быть похороненным вместе с любимой. О такой смерти герой может лишь мечтать. Современный же грешник, — даже раскаявшийся, — он все равно предпочитает облегченный вариант наказания. Тем более, если наказание — смерть. Раскаявшись, не смерти он уже

боится, а умирания. Мечтает: ах, если бы уснуть и не проснуться, просто! Это выглядит завидно, если уже не важно, что в том сне приснится, когда покров земного чувства снят.

Конечно, это было бы слишком легко, слишком просто. Я понимал. Потому и боялся: что если Автор или, стоявший над ним, Мазохист Бесплотный, — кто-нибудь из них — услышав сомнения мои, пожелают закрепить в структуре этой прозы образ погибшей кинодевы. Возьмут, приоткроют бледно-плесеневое лицо с зеленой струйкой жижи, сочащейся из беззубого рта. Что если... Нет.

В обычной пошловатой действительности тривиального бытия, наверное, от подобных сомнений сойти с ума было бы естественным итогом. Но в той, иной и вечной в единстве своего времени, форме жизни, которой является язык, сумасшествие не выход и не ход. Потому как нельзя знать, что по сути есть с ума сошествие, а что всего лишь художественное вскрытие эффекта отражения подспудных процессов бытия. Разве замечен будет сдвиг в сознании героя, разве он не будет принят за художественный прием, когда сместился образ самой действительности, и мир оказался с мозгами набекрень, когда спускаются с экрана кинолюбимые, чтобы утешить (создателя? читателя? персонажа?), и говорят лишь „ДА”, когда кошки бегают по улицам между колесами автобусов и сапогами гренадеров, и вспрыгивают с тротуаров в окна верхних этажей, когда ночи солнечные всего лишь потому, что сочетание „ч” и „н” завораживает скользющую по бумаге руку, — сладострастие ассонансов, наркота аллитераций диктуют руке этой возвращение опять и опять, и опять выписываются ею на листе повторяющиеся знакомые знаки. Все это здравому смыслу вопреки.

Но тогда, только тогда из природы созвучий в семантическом всплеске словес возникает, прорастает и выбивается на свет росток из пресловутого зернышка — подлинного смысла.

Однако от смысла подлинных событий сюжета мы отдалились: толкает смятенную мысль страх перед гробом, уво-

дит в путаные рассуждения, — о чем угодно, только бы не о деле. Но пора.

Пора мне могилу вскрывать. Пора семантическому коту прыгать вниз. Пусть с подоконника ирреально замедленно он соскользнет прямо к сапогам гренадера. При этом, когда лапки передние когтями заскребут асфальт, задние лапки еще не отпустят разошедшуюся доску подоконника. Расстояние же от четвертого этажа нормального ленинградского дома не уменьшится, а длина кошачьего тела (ох, простите неотвратимые критики, но...), — длина эта, она несколько не удлинится. Потрется мой кот о сапог гренадера и скользнет, благополучно минуя колеса автобуса, на противоположную сторону, где давно, словно хитрый дворник с мешком, поджидает его злодей редактор, чтобы... Бедный кот!

Странная жизнь эта поэзия, эта проза. На протяжении ста почти машинописных страниц говорю о явлениях неореальности. Не в ущерб реализму, отнюдь. Я никому не желаю ущерба. Скорее (предчувствие такое) со всеми иллюзиями этими чего доброго самого заподозрят в ущербности, наклеют ярлык.

Позиция тех, кто стоит за кондовый реализм, она всего лишь поза, их позиция. Никто не знает, что же такое реализм и какое отношение имеют бытийные реалии к прозе, к художественному тексту. Смешно говорить об этом, но даже у заядлого реалиста, у самого, можно сказать, главный герой Гриша Мелехов не может над читателем ничего произвести: ни пулянуть из винта, ни огреть нагайкой, ни словцом ядреным пугануть — будь то хоть еврей, хоть еще какой ни на есть интеллигент или прочая несогласная сволочь, нелюбезная ни главному герою, ни его автору. И, наверное, все это оттого, что в разных они мирах в разных формах бытия, в иных измерениях, — проходят друг друга насквозь и почти несоприкосновимы. И то слава Богу! Но если кто желает сказать, что, мол, Гришка этот Мелехов, ведь он и не существует как бы, нет его: бумага одна — сжечь ее, и конец! Отвечу: так и человека сжечь можно. И его не будет. А случается, что и неизвестно, что реальней: иной гражданин с нату-

ральным паспортом или эти, мастерской рукой набросанные на бумаге всего лишь черты, изменчивый образ. Иначе отчего при чтении иной главы душа болит, отчего заворачивают перелистываемые страницы романа, отчего ноет сердце и сон отступает до утра, отчего возникает сладкая истома после чужой любви, появляется мертвенная опустошенность после чужой кавалерийской атаки? Нет ведь ни любви, ни атаки — так просто, размытые черты...

Реализм или ирреализм, как ни называть, все равно, насколько реально ни было бы построено описание само по себе, мир этого описания, — он возникает вне реальности, там свои законы. Сам по себе он уже вторая реальность, иная. А если не вполне независимая, — так ведь создатель этого мира не Бог, а художник, всего лишь пытающийся присвоить функцию Господа. Сам-то он здесь, в земной действительности. И потому мир его насыщен узнаваемыми чертами. Да и как же иначе, откуда ему брать материал, слово? Был бы он марсианином, была бы и жизнь в его романах напоминающей Марс. Но только напоминающей. Потому что была бы она уже сама по себе, как и Марс.

Трудно поверить, чтобы перед раскрытой могилой кто-то мог предаваться размышлениям, подобным тем, что наконец оборвались. И вообще разного рода умствованиям. Трудно поверить. Человек он не мог бы. Но литературный персонаж — вполне.

Поверьте, если бы то было в моих силах, я давно бы землю руками разрыл. Михалыча привлекать бы не стал. Вообще, будь это моя повесть, практика моей прозы, значительную часть седьмой главы, да и начало восьмой я бы просто вымарал. Только на этот раз действие разворачивается в неподвластных сферах. А сам я — всего лишь марионетка в руках уважаемого Автора, хотя номенклатурно главное действующее лицо.

— Так что же там, что же в могиле?..

Поверьте, я сам сгорал от нетерпения. Но Автор... Он все медлил почему-то. Оттягивал разрешение загадки. Я тут ни

при чем. Это он заставлял меня произносить пространные монологи. По секрету скажу: я просто убежден, что суть его прозы, она вовсе не в загадках, не в поворотах сюжета, — она в этих монологах, которые так часты и некстати. И то, что некстати они, — тоже прием. А по мне, все это пустая болтовня.

Пока я бормотал про себя на четырех страницах рассуждения, Михалыч углубился в яму. И вот — лопата глухо стукнула о крышку. Я вздрогнул, услышав деревянный стук.

Я не утерпел и кинулся помогать. Тем более что старик выдохся. Толку от него уже было немного. Да и приподнять, вытащить гроб самостоятельно он все равно бы не сумел, не смог. И как бы теперь Автор ни пытался меня отвлечь, выманить из могилы, заставить еще что-нибудь этакое заумное занудить, сколько бы он ни пробовал подцепить меня, как на крючок, на какую-нибудь задохлую мыслишку, — теперь ему это не удавалось. По-видимому, уже и сам он не мог медлить. Происходившее притиснуло,хватило и его. Мало того, я бы не удивился, если бы он отбросил карандаш, отодвинул диктофон, вылез из-за письменного стола и спрыгнул бы прямо в тесную яму — помогать.

Нет, неспроста он все это затеял! Видать, числилось что-то у него на совести. Была, видно, с ним прошлым летом темная история. Правда, до могилы дело не дошло. Но да разве одни лишь те могилы, что на кладбище? Давила на совесть сокрытая вина. И вот теперь, в практике прозы я это дело за него расхлебывал. Да еще неповинного Михалыча подгонял.

Яму тем временем мы углубили довольно. Подкопались. В темноте, в узкой могиле оба натужно сопели, пытались вырвать гроб из земляного плена. Пробовали приподнять ломиком, чтобы просунуть веревки.

— Веревки я оставил под кустом, у сосны, — сказал Михалыч. — Принеси.

Отряхивая землю, я выбрался из могилы и, отпихнув сухие кости, вырытые вместе с песком (они загремели негромко и жутко), шагнул к дереву. Там лежала веревка.

Я сделал один шаг. И тогда вдруг яростно оскаленная пасть расцвела передо мной, и две мохнатые толстые лапы. Я принял мощный толчок в грудь, отчего перекатился через кучу рыхлой земли, упал на спину и тотчас же был придавлен к земле лапами тренированного зверя. Перед горлом моим в дьявольской готовности, угрожая отточенными белыми резцами, застыла слюнявая пасть.

— Не вздумай сопротивляться! — раздался уверенный, угрожающий голос. — Оружие есть?

— У-уберит-те собаку... — только прохрипел я.

— Подымайся... Руки на голову!

— Собаку.

— Ко мне! Фу!.. Молодец, Нагдар.

— Вот, вот... я говорил тебе, говорил... — трясся Михайч.

Мы оба стояли у ямы в окружении четырех милиционеров: капитана, двух сержантов и рядового, сказавшего на меня „фу”. Он собаку трепал по заливку, хвалил. Капитан рассматривал мои документы.

— Не брал, гражданин начальник... Вы послушайте старика — врать не стану, ведь какие мои годы. Не брал я его денег, поверьте, все деньги при ем... Вот только сигаретами пользовался, да бутылочку винца... Более ничего.

— Замолчи, старик! — цыкнул на него хмурый сержант, и рывкнул пес.

— Та-ак! Писатели, значит!? — удовлетворенно переспросил капитан, убирая мои документы во внутренний карман кителя. — До какой жизни, а! Это ж надо дойти, чтобы могли грабить... Красиво жить захотел, гонораров не хватает?

Ошарашенный, я молчал.

— Че молчишь!? — ткнул в спину второй сержант, деревенского вида парень с широким дебелым лицом. — Ступай вперед, — и осветил фонариком тропинку.

— Романы писать — то ж работа, — продолжал капитан. — То ли дело барахло с покойника стянуть — в комиссионку сдал, вот и доход. Эх, люди, до чего не додумаются только!.. Да еще если золотишко попадется, зубы там или что.

— Да пустой гроб! Пустой! — закричал, не выдержал я. — Ничего в нем нет. Пустой!..

— Топай, топай, — подгонял меня хмурый сержант. — По-малкивай.

Но я остановился. Я обернулся к капитану и даже повернул обратно, попытался повернуть. Потому что тут же меня подхватили. Завернули руки. От боли я согнулся, застонал:

— Пустой он...

И все-таки вырвался. Отскочил в сторону, едва не столкнул Михалыча в яму и, прижавшись спиной к железной ограде чужой могилы, заорал на начальников. В голове же вертелось: „Вот, вот сейчас уведут меня... Пиши пропало... Мало, что срок навесят, — так до истины, до сути я теперь не докопаюсь никогда!.. Фильм за границу передадут. А с судимостью за кордон мне не выехать, это уж как пить дать. Не пустят. Так что — никогда!”

И я орал, вцепившись в прутья могильной ограды:

— Да поверьте, вы, люди-нелюди: пустой гроб. Нет там, никого нет...

— Как это, почему? — удивился капитан, приподымая к свету фонарика мое лицо, когда опять мне выкрутили руки. А я продолжал извиваться в сержантских клещах.

— Так!.. Пустой!.. Да иди ты... — оттолкнул я опять нападавших милиционеров. Собака рычала, рвалась с поводка. — Уберите, капитан. Не убегу я... Я отсюда вообще никуда не пойду, — вдруг выдохнул, успокоился я. — Вы откройте, посмотрите сами... Вскройте гроб, загляните туда.

Капитан смутился:

— Отпустите его, Клиндуков, — и опять повернулся ко мне. — В своем уме ты, парень? Понимаешь, что говоришь? А ну, повтори!

Он осветил фонариком меня, мое лицо. Увидел, как дрожат губы. Я рукой заслонился. Мне стало стыдно. Я только дрожал и повторял бесконечно:

— Пустой... Ничего там нет... Пустой.

Дальше, словно в бреду, ровно во сне, я видел, как милиционеры, засучив рукава рубах, в свете карманных фонари-

ков протянули под гробом веревки. Дружно крикнув, они вместе с Михалычем взяли гроб на себя, — медленно он пополз вверх. Вскоре на поверхности показалась его грубая крышка.

— Легкий гроб-то!? — удивился хмурый сержант Клиндуков.

— Девка в ём, разве не понятно? — пояснял успокоенный работой Михалыч, он суетился перед властью, все пытался взять черную часть работы на себя, поносил меня: — Трупоед, сумасшедший, интеллигент, придурок! — пока капитан не приказал ему замолчать.

Молча сержант Клиндуков вставил в плотно подогнанную щель между крышкой и гробом топор. Крикнув, приналег. Крикнул гроб. Крышка поддалась, заскрипели ржавые гвозди. И с визгом оторвался один конец. Тогда в щель просунули лом, подцепили им крышку и сорвали.

А потом четверо милиционеров, Михалыч, овчарка Нагдар и я долго стояли над пустой домовиной. Мертвые цветы наполняли гроб.

Не в силах сдержаться, я присел в траву на подогнувшихся ногах и заплакал. Уронил фуражку капитан. Дурная улыбка передернула его остроскулое лицо.

— Как же так, а?.. Фиктивное захоронение, а?.. Как понимать, что же вы замолчали, Клиндуков? Что?

— А вот мы его сейчас... Мы спросим, — сказал Клиндуков и уже не сердито, но достаточно строго взял меня за плечо. — Слышь, писатель. Выкладывай давай, слышь. Что за дела?

Пока я объяснялся, всхлипывая, путаясь, то и дело пугаясь, что вот ведь не поймут, подробнее надо, обстоятельнее. И оттого путался еще более, потому что боялся: а ну как не разберутся они и не поверят. А тогда, я это точно знал, — не отпустят. Я пытался доступно втолковать им всю суть приключившейся истории, начиная с обрушившейся стены родного дома и похода в кино, отступал, возвращался назад, еще дальше: к поездке на юг, в Туапсе, к сценарию, к

пионерам-героям. Милиционеры хмурились, переглядывались.

— Слушай, парень, — перебил, наконец, капитан. — Я тебе скажу, ладно, похоже не врешь ты, — это чувствуется. Но, видать, здорово в голове у тебя перепуталось все. Крепко ты сдвинутый, вот что. Лечить тебя надо. Подлечат, тогда вспомнишь, расскажешь по порядку... Преступление здесь, даже и не сомневаюсь.

— Нечистое дело, — поддержал Клиндуков, — иначе отчего бы он с ума спрыгнул?

— Как это: подлечат? — удивился я.

— Могилу оставим, как есть, — повернулся к подчиненным капитан. — Оперативная группа пусть подробно обследует место. А этого — он кивнул в мою сторону, — отвезете... — и, помолчав, добавил. — На экспертизу.

— На Пряжку? — обрадовался Клиндуков.

— Или в пятую психбольницу.

Меня подхватили под руки.

— Нет, — подскочил я с травы. — Я не могу сегодня, я занят. Зачем в психушку? Нет... Дайте направление, я сам схожу завтра или лучше во вторник. Вторник редакционный день. Он у меня теперь не занят.

— А что же сегодня? — ухмыльнулся капитан.

— Последний день этот фильм на экране...

— Ну, не псих ли! — снисходительно промычал Клиндуков.

— Успокойся, писатель. Нельзя тебе в кино сейчас. Ты там будешь волноваться, — по-отечески положил на плечо мне капитан милицейскую руку. — Пойми, я тебя на таком деле застукал. Ты это пойми. В толк возьми. Как же я тебя отпускаю?

— Так ведь не было ничего! — взмолился я.

— Разберемся, — отрезал капитан.

Меня повели. Я не упирался, шел послушно. Но я им все что-то пытался втолковать. Убеждал, размахивал руками. И когда в жестикуляционном порыве останавливался, меня подталкивал милый сержант Клиндуков фонариком в спину.

— Не могу я, поймите, — кричал я. — Гроб пустой. Все сомнения оправдались. Видимо сжалились боги, я не ошибся в своем предназначении... Я не могу сейчас в отделение. Я должен заехать в клуб „Хлеб-лепешки” на последний сеанс. Там она ждет. Это точно. Она такая. Несколько дней уже ждет... Который час, капитан? Уже девять?.. Отпустите в кино, я вам слово даю, что вернусь. Приду на Литейный или куда скажете... В десять последний сеанс. Потом делайте со мной, что угодно: все равно будет, сажайте хоть в сумасшедший дом, хоть в дом творчества.

Капитан оставался неумолим. Он выполнял долг. Милиционеры уверенно вели меня к машине. В дверях конторы Виктор-заведующий тоскливо и виновато помахал рукой. Желтый газик с синей лампой-мигалкой на крыше фырчал у ворот, освещал фарами накатанную дорогу.

„Прахом все пошло, — подумал я, — все прахом”.

И еще подумал, что шагу не сделаю, не ступлю. Прямо сейчас лягу в пыль. Не пойду никуда больше. Если надо, пусть несут, экспертизы совершают надо мной, что угодно. Больше я никуда. Кончился. Все.

Только это я подумал и остановился, выбирая в пыли место помягче, чтобы лечь, как увидел: из-за деревьев, из открывшегося прямо в небе освещенного окна, откинув портьеру, вниз, к кладбищенским воротам, ко мне спускается человек. По воздуху этак идет сам всклокоченный, а на нем домашний халат, шлепанцы. Запахнул он халат, на меня не взглянул даже. К капитану подступил.

— Отпустите, — говорит, — он здесь ни при чем.

— Кто такой? — направил на него фонарь капитан и, рассмотрев, обнаружил несомненное сходство — оглянулся на меня, опять посмотрел на него.

Было лицо пришельца очень похоже на мое лицо, только обрюзгшее чуть, мешки под глазами, волосы длинные, неопрятные — больное было лицо.

— Он ни при чем, — снисходительно кивнув в мою сторону, объяснил капитану Автор. — Это все я... Больше никто.

— Садитесь в машину, в отделении разберемся, — сказал ему капитан, ничуть не удивившись. Видимо, повидал он всякого за нелегкую свою практику, даже сошествие с неба не смутило его.

— Вот это разговор, — улыбнулся Автор и обнял капитана за плечо. — Таким людям приятно сдаваться, — и повел капитана к машине.

И, о чудо! Пошел с ним капитан. А за капитаном все милиционеры. И даже пес завилял хвостом.

Но тут капитан опомнился. Вынырнул из-под дружеской руки. Тотчас же сержанты локти Автору завернули, затрепал халат, и кинули его головой вперед в раскрытые двери машины. Донесся оттуда приглушенный вскрик. Заглушая этот вскрик, взревел мотор. Капитан оглянулся, как бы вспомнив о чем-то, может быть, обо мне. Но я не дожидаясь. Я уже убежал.

Это был бег через ночь. В тишине обступивших тропинку деревьев мягким гулом отдавалось эхо шагов. Моих. Оно гналось за мной. Мигнула синяя лампа милицейского газика далеко на шоссе. Я бежал сквозь пустырь, наискосок, к светлому острову дальних огней городского квартала. Задыхался. По пересеченной местности, по мосткам над черным ручьем, по доске через канаву, мимо свалки, заросшей чертополохом. Упал, обжигая ладони в крапиве. Обжег. А затем вдоль по улице за автобусом. Догнал. Шофер подождал. Отвез меня к метро.

В душном вагоне ленинградской подземки я, как рыба, ловил воздух ртом. В полупустом вагоне перебегал с одного сиденья на другое, ловил, чтобы вдохнуть упругую струю сквозняка. Но только волосы на макушке шевелила струя. До лица не доставала. Алкал воздуха рот.

По эскалатору я подымался бегом, словно в давние времена, словно опаздывал в школу. По этому эскалатору лет семнадцать назад я бежал вприпрыжку, опаздывал на урок. Школа была в переулке, рядом с клубом, куда мы ходили смотреть „Колдунью” всем классом. У входа вывешивали фотографии босоногой девушки с испуганным

в улыбке лицом, в изящно нелепом платье. На переменах одноклассницы распускали волосы „под Колдунью”. В переулке когда-то был мой дом, — мы переехали в новый район, но я посещал старую школу, и старый дом по-прежнему нашим считался. Я хотел описать его во второй главе, Алик привез меня случайно на машине, но рухнула родная стена — нечего описывать. Не осталось во мне дома.

По бульвару я бежал от Владимирской площади в сторону Разъезжей. Трудно дышал. Замедлил шаги. До начала оставалось минут десять. Можно было не торопиться.

Я пошарил в карманах: денег не было, не было документов. Вместе с паспортом милиционеры прихватили бумажник.

„Как же теперь? Кто впустит без билета?”

По инерции, я продолжал идти, когда неожиданно от бульварного дерева отделилась хрупкая длинноногая тень. Шагнула поперек, преграждая дорогу.

— Двадцать копеек? — услышал я требовательный голос подростка, машинально сунул руку в карман, но тотчас же нащупал пустое дно и возмутился детской наглости.

Рядом выросли еще три фигуры. Поодаль стояли четверо.

— Двадцать копеек! — повторил тот же голос.

— Н-нет у меня... — ответил я, соображая на ходу, как выпутаться: дети детьми, но восемь было многовато, да и спешил я.

Осторожно я попытался скользнуть боком, в сторону.

— Эй, посмотри-ка, Седой. Да это ведь он, наш друг любезный, — неожиданно обрадовался за спиной еще один простуженный мальчишеский голос. — Вот так встреча!

Я оглянулся.

Все восемь были одеты в обезличивавшие их, словно униформа, куртки из нейлона, производства местной фабрики, — такие носили обычно воспитанники ПТУ, подмастерья. Но при всей обезличке лица их показались знакомы. Где-то я их видел. Примелькались они мне. Очень знакомы, а не узнать. Не назвать. Не...

Тут, как иглой, я был приколот: я узнал своих героев,

тех восьмерых, что остались грудой трупиков над прекрасной идеей, в подтверждение концепции худсовета.

Они потянулись ко мне молча. Я смотрел с бесстрашным спокойствием человека, у которого уже все отбито. Я был узнан. Их руки схватили пиджак. Вырвали меня из него. Восьмью парами цепких мальчишеских рук я был притянут к стволу тополя. В темноте торопились испуганно тени прохожих.

„Никто не поможет, — понял я. — Только бы бритвами не...”

— Сука, — сказал мне простуженный голос.

Я узнал: не желал он захлебываться, медузы спасали его. Я вспомнил. Тут же подумал: „Они уцелели потому лишь, что я не отдал сценарий на телевидение... Я отказался, не смог, не захотел добить до конца. Оставил. Жизнь им сохранил... Вот ведь в чем дело, я все понял!.. Теперь это все не серьезно. Теперь мы друзья!”

— Друзья! — сказал я. — Пойдите, теперь все не так...

Но в тот же миг получил ботинком удар по косточке, по ноге. Согнулся. Потом было много ударов. Я упал на загаженный газон городского бульвара. Пахло собачьим дерьмом.

— Контра! — хрипели они. — Ты хуже корниловца.

Кровь полилась изо рта.

— Я по... Ведь я понял все... За что?

— Ах, за что?!

Они били с наддачей, со смаком, на заводке, в прекрасном порыве отмщения, творили свое двадцать пятое октября с восторженным матом на устах.

Думал я: „Господи, — была идиотская мысль сквозь удары, — как же они, какими словами?.. Я их иначе писал, я им этих слов не давал... Неужели и революцию они творили с этими вот словами?” И тут понял: конечно, с этими. Наверное, удар сапогом по затылку вправил мозги. „С какими же еще, — понял я. — Это ведь потом остолопы вроде меня нужные словечки подобрали, чтобы пристойней выглядело, а на самом деле...”

Меня оставили, когда я уже не стонал.

Я лежал на земле, руками скреб землю газона. Отмщен-ные персонажи разбежались. Прохожие обходили меня сто-роной.

Я был оставлен Автором (забрали его), оставлен Мари-ной, был брошен даже своими гегемонами-героями (аз воз-дам справедливости в них воплотилось). Вполне я отведал справедливости вкус. Теперь я согласен был с Автором: предрассудком он считал справедливость. Теперь мне было все ясно. И я лежал.

Но лежать на бульваре, на земле, перед взорами оживлен-ной публики, гулявшей через душный августовский вечер мимо меня, было неловко и стыдно. Да и неудобно на жест-ком газоне. К тому же могли подобрать и отправить в мили-цию. Без документов оттуда я бы скоро не спасся, я бы это-го второй раз уже не выдержал. Кроме того, оставались ми-нуты до начала сеанса.

Я приподнялся. Я прополз два шага по бульвару. Потом приподнялся еще. Качаясь, подобрался к скамейке. Присел. Из уха сочилась кровь, стекала изо рта, запеклась на рубаш-ке. Правый глаз плохо видел. Болело под ребрами, ныл жи-вот. Пальцы рук были разбиты.

На противоположной стороне я увидел, сочилась вода из крана для полива улицы. Я умылся, отряхнул пыль с брюк и с ботинок, подобрал затоптанный пиджак, вытер грязь мокрой рукой, вымыл руки. Я расчесал мокрые волосы на-угад, без зеркала. И пошел по бульвару туда, где горела зе-леными буквами реклама кино.

Едва переставляя ноги, замирая от боли где-то внизу жи-вота, я брел по улице к ярким, огненно-зеленым буквам, светившим над бульваром в фиолетовом небе. Я был при-зван ими, и теперь, сполна расплатившись, я знал: ничто мне теперь не поможет. И не помешает. Теперь я пришел.

Позади остался только черный бульвар. За моей спиной ничего. За мной ничего более не числилось: я был лишен до-кументов, Автора, авторских прав, материальных средств,

возможностей добывания этих средств в нашем мире, — этого мира я был лишен.

Я вошел в желтое, освещенное громоздкой люстрой фойе старой киношки (все здесь было до боли знакомо — ничего не переменилось), я вспомнил, как мы шли в зрительный зал недавно, словно школьники, похрустывая вафельными стаканчиками с мороженым.

Я сказал билетерше:

— Нет денег.

Она оглядела меня с сочувствием. И пропустила.

— Вы единственный зритель, больше и нет никого.

Я прошел и услышал во след:

— Вы последний зритель этого фильма.

Я улыбнулся, смог улыбнуться. Собрался и сделал это. А затем, твердо ступая, оказался в зрительном зале.

На экране мелькали вспышки выстрелов. Английские солдаты развлекались с ирландскими девочками под джаз. Потом разгоняли демонстрацию на узкой средневековой площади. Ольстер. Кинохроника. Затем по экрану помчались спортивные катера... Тот же журнал.

„Сколько дней я не видел „Колдунью“? — спросил я себя. — Соскучился?“

Сам себе я кивнул.

Дальше начались титры, пейзаж под музыку. Молодой инженер сходил с парохода на берег. С ним кокетничала Николь Курсель. Все было просто. Я узнавал. Я уже знал. Мне было известно, что будет в следующем кадре, и потому казалось, сюжет развивался быстрее, словно бы киномеханик спешил. Я тоже спешил. Я уже был инженером. Четкой сделанности фильма не замечал. Сконцентрировался. Я уже видел, как я — он — входил в лес.

И я встал.

Навстречу, с экрана смеялись глаза и припухлые губы. Распущенные локоны упали на плечи. Из-за ветки глянуло испуганное лицо. И вдруг повернулось, исчезло за деревьями.

Я шагнул.

Девушка убегала в зарослях в развевающемся платье, легко проскальзывая и нигде не зацепляясь, проходила сквозь чащобу.

Я шагнул за ней — ветка хлестнула по лицу.

Хрупкой тенью, привидением она уходила из рук. Я на бегу кричал что-то, задыхался. Подошвы ботинок скользили по сочной траве. Я падал. Катился по склону. Приподнялся. Она обернулась смеясь.

И тогда я почувствовал, будто соединили все части меня в меня, и та, оторванная давно и утраченная часть меня, скорбящая и тоскующая, она тоже вернулась, нашла свое место. И еще было чувство: что я возвращен на прежнее, единственное мое место, и соединен в целое, в прежнее, и теперь расщеплен и разломан никогда не буду. Никогда.

Я оглянулся. За спиной колыхалась, дышала стена зарослей. Зеленые ветви забвения.

Марина оглядела меня, оценила истерзанный вид.

— Да, — сказала. — Теперь ты пришел.

1975

